

A close-up portrait of a woman with voluminous, curly blonde hair. She is wearing a dark blue or black garment with a large, dark feathered collar. Her right hand is raised, wearing a black fishnet glove with a decorative lace cuff. She has a soft smile and is looking directly at the camera. The background is a solid dark color.

*Людмила  
Сургенко*

АПЛОДИСМЕНТЫ

Людмила Гурченко

**Аплодисменты**

«Центрполиграф»

1987

УДК 82-3  
ББК 84-4

**Гурченко Л. М.**

Аплодисменты / Л. М. Гурченко — «Центрполиграф», 1987

ISBN 978-5-227-09138-3

Книга, которую вы держите в руках, – это не просто история девчонки, ставшей знаменитостью, это правдивая история уникальной женщины во всей сложности и противоречивости ее духовной жизни. Все было на тернистом пути актрисы: и любовь, и отчаяние, и разочарования, и надежды. Это был непростой путь, но кто знает, вошла бы такая яркая звезда и сформировались бы такой искрометный характер и неповторимая личность, как Людмила Гурченко, не будь этого трудного пути к настоящей славе. Людмила Марковна рассказала о своей жизни прямо, честно, открыто и абсолютно безжалостно к себе. Книга правдива и полна таких ярких картин того времени, о котором идет повествование, что невольно чувствуешь себя участником событий и веришь автору до конца...

УДК 82-3

ББК 84-4

ISBN 978-5-227-09138-3

© Гурченко Л. М., 1987

© Центрполиграф, 1987

## Содержание

Предисловие	7
Часть первая	9
Мое взрослое детство	9
Автобиография	10
Прекрасное время	12
Война	16
Вали	18
Грабиловка	22
Казни	25
Сказенки	26
Прорубь	30
Менка	32
«Аллес нормалес»	34
Пир	35
Говорит Москва	37
«Надо выделиться»	39
Девушка моей мечты	42
Шаушпиллер	43
Клад	47
Базар	50
Без «дела»	53
Наши пришли	54
Конец ознакомительного фрагмента.	55

# **Людмила Марковна Гурченко**

## **Аплодисменты**





© Гурченко Л.М., наследники, 2020  
© «Центрполиграф», 2020

## Предисловие

Первая часть этой книги родилась несколько раньше, родилась из устных рассказов – замечательных, тонких, глубоких.

Мы тогда снимались в «Сибириаде», и не проходило вечера, чтобы, собравшись у кого-нибудь в номере, мы не уговаривали Людмилу Марковну рассказать про отца.

После каждой исполненной в лицах истории оставалось печальное чувство, что действие уже кончилось. Вот тогда-то и родилась идея книги. Я тоже горячо ее поддерживал, но был уверен, что, перенесенная на бумагу, история маленькой девочки в большой войне потеряет свое обаяние, сама по себе превратится в беллетристику.

С той поры прошло время, и мы вновь встретились с Людмилой Марковной уже на съемках «Пяти вечеров». Я как-то забыл о тех наших разговорах, связанных с идеей написания книги, но однажды Гурченко принесла с собой на репетицию несколько тетрадок, неровно исписанных шариковой ручкой. Шумно иронизируя над собой, тем самым пряча смущение, она наконец сказала, что это начало ее книги, но тетрадок она никому не даст: у нее, мол, плохой почерк и много помарок, но если мы очень хотим, то можем послушать – она почитает сама.

Я, признаться, несколько смутился: придется что-то говорить, огорчать не хочется (да и невыгодно – нужно репетировать), а ничего путного, даже вполнине адекватного ее рассказам, от рукописи я не ждал. Но когда Люся стала читать, меня поразило то, что я не почувствовал никакой литературности, никакого, даже скрытого, желания быть или хотя бы казаться писательницей. Это был живой, льющийся, полный юмора, легкости и в то же время драматизма рассказ.

«А не попал ли я просто под обаяние ее личности? – думал я. – Ведь все-таки мы слушаем Люсю, она блистательная актриса, материал ее близок». Но когда через некоторое время Людмила Марковна дала мне первому (чем я очень горжусь) прочесть свою рукопись, которую она, как сама говорила, перепечатала одним пальцем, я понял, что не обаяние ее личности приковывало мое внимание, а сила ее человеческого таланта.

И, читая эти листки с перечеркнутыми строчками, вписанными словами, я невольно сопоставлял эту маленькую девочку и эту знаменитую актрису, ту ее жизнь и теперешнюю, зримо представлял, что между двумя этими жизнями было. Эта книга не просто история девочки, которая выросла и стала знаменитостью. Это история уникальной личности во всей сложности и противоречивости ее духовной жизни.

Так что же она такое, эта Людмила Гурченко?..

Мне было тогда лет тринадцать, и больше всего на свете я любил открывать двери, когда к старшему брату собирались гости. Я до сих пор не могу понять, почему я это так любил, все равно никакой надежды, что мне позволят посидеть со взрослыми, не было, но, наверное, то, что можно хоть на мгновение прикоснуться к празднику старших, посмотреть, кто пришел, что принес, заставляло меня вздрагивать при каждом звонке и сломя голову нестись открывать.

Вот так однажды я открыл дверь Людмиле Гурченко. У брата было уже много народу, смеялись, гремела музыка, а передо мной стояла живая Гурченко. Закутанная в шубу, в туфлях на высоком каблуке, с инструментом, похожим на мандолину, в руках, она постояла на пороге, поняла, что со мной не о чем говорить, и прошла туда, откуда доносились голоса. Ее встретили воплем, хохотом, аплодисментами, а я так и остался стоять, ослепленный видением, к которому никак не был готов. Я думал, что Гурченко будет петь, не зря ведь с мандолиной пришла, но она не пела, более того, вскоре все с шумом собрались куда-то в другое место, толкаясь, оделись и ушли. А через минуту их голоса доносились уже с улицы.

Вряд ли Людмила Марковна помнит этот эпизод. Да и зачем ей было его помнить? В тот период первой волны ее фантастической популярности улыбкам, рукопожатиям, поцелуям

не было конца. Это, думаю, ошеломляло, радовало, утомляло, а самое главное – казалось, что никогда не будет ничего другого, впереди долгая счастливая жизнь, полная побед и удовольствий. Проснувшись однажды знаменитой, сразу после выхода на экран фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», она мгновенно, как и подобает настоящей актрисе, легко и естественно почувствовала себя в этих предлагаемых обстоятельствах. Но настоящая ли это была слава? И могла ли такая слава затуманить сознание, ослепить, лишит ли реального представления о мире и о себе в этом мире? Могла, и еще как могла! Сладкие минуты стремительного признания обернулись долгими годами расплаты за такую стремительность. Все было на этом тяжелом пути: и отчаяние, и разочарования, и надежды, и вновь отчаяние, но самое главное – была работа. Нет, не та, желанная, актерская, ее-то как раз довольно долго и не было, но была работа духовная, было постоянное строительство себя, по камешку, по кирпичику. Вот тогда, я думаю, Гурченко поняла, что человек не хозяин своего таланта, он только проводник его, его слуга, и никакие блага жизни, никакая слава не смогут, не должны заставить использовать талант только для достижения их.

Да, это был тяжелый путь, но кто знает, имели бы мы теперь такую актрису и такую личность, как Людмила Гурченко, не будь этого трудного, но настоящего пути к настоящей славе?

Как зрители, которые воспринимают личность Людмилы Гурченко по-разному, только не равнодушно, так и читатели с первого же момента выхода в свет ее книги «Мое взрослое детство» обрушились на автора, кто – с обожанием и восторгом, кто – с раздражением и сарказмом. Однако, вне зависимости от точек зрения, стало ясно одно: книга Людмилы Гурченко – это явление! И явление, может быть, не столь литературное (на это автор и не претендовал), сколько явление человеческое, гражданское, личностное.

Сто тысяч экземпляров разлетелись в считанные мгновения, а вскоре посыпались письма. «Что было дальше?» – спрашивали читатели. «Как жилось?» «Что думалось?» «Как выжило?»

Ответом на эти вопросы и стала книга, которую вы держите в руках. Это легкий, летящий монолог актрисы. Иногда он веселый, и тогда перед нами возникает образ Людмилы Гурченко, давно знакомый нам по комедиям прошлых лет, иногда – горький, и мы узнаем Гурченко и ее тему в фильмах более позднего времени. Но какая бы интонация ни звучала в ее словах, незыблемыми в них всегда остаются прямота, честность и удивительная безжалостность к себе. Такая обезоруживающая самоирония делает книгу еще более обаятельной и помогает читателю, ощутив доверительную интонацию, поверить автору до конца, ибо если он доверяет себя читателю, то и читатель отвечает автору тем же. Во всяком случае, так должно быть.

Я не буду пересказывать содержание книги, не буду останавливать внимание на особенно нравящихся мне страницах, скажу только одно: о ком или о чем бы ни шла речь – будь то история поступления во ВГИК или отношения с маленькой дочкой Машей, отец Марк Гаврилович или точные, емкие детали времени – во всем, за каждой строчкой огромная, всепобеждающая, бесконечная любовь к своему Отечеству, живая в него вера! И именно эта вера и эта любовь помогли Гурченко пронести свою сущность сквозь все испытания славой и бесславием, помогли ей сохранить свое лицо. И лицо это узнаваемо во всем, за что бы она ни бралась! Узнаете вы его и в этой книге.

*Н.С. Михалков*



## **Часть первая**

### **Мое взрослое детство**

#### **Мое взрослое детство**

Я хочу попытаться рассказать о своем отце. Человеке сильным и слабым, веселом и трагичном, умном от природы и почти совсем неграмотном в сегодняшнем понимании слова «образование». Из прожитых семидесяти пяти своих лет сорок пять папа жил в городе, но так и не научился говорить грамотно. Город и цивилизация его как бы не коснулись.

Люди, которые хоть раз общались с ним, встретив меня через время, всегда задавали один вопрос: «А как твой папа? Ну расскажи про своего папу... Ну пожалуйста!»

И я рассказывала. Они смеялись, поражались его неожиданным поступкам, его речи, ему... Я не могла им сказать, что его уже нет, что с 17 июня 1973 года я мечусь и нигде, ни в чем не могу найти покоя. Только в работе, которой, к счастью, загружена в последние годы без перерыва. Я знаю, что надо отдохнуть, но боюсь этого. Ведь тогда у меня будет свободное время, и опять на меня обрушится тоска, боль, пустота...

Ведь нет больше моего папы!

Папа прошел через всю мою и мамину жизнь, наполнив ее радостью, юмором, уверенностью, что мы с мамой – прекрасны.

## Автобиография

Папа часто и с удовольствием рассказывал о себе. Я попробую воспроизвести его речь, как можно точнее, потому что без этой речи нет моего папы.

Мой папа, Марк Гаврилович Гурченко, родился в деревне Дунаевщина Рославльского района Смоленской области. Он родился в 1898 году, но всем говорил, что в 1899-м.

– Марк, – ехидно спрашивала мама, – ну зачем ты врешь? Ты же по паспорту 1898 года... Ну что тебе дает один год?

– Не нада, Леличка, не выводите меня. – Обычно горячий и невыдержанный, папа, когда речь заходила о его возрасте, сразу притихал и всегда терпеливо объяснял маме: – От человек, ну што ты скажешь... Я ж тебе гаварив, што – тыща восемьсот девяноста восьмой год при царской служби служив последний год. А я у царский служби не служив! Значит! Што выходить? А? А-а!!! То-та. Былван есть былван. Да зачем мне врать, галава ты. Я ж увесь як на ладони... Да-а, у девять лет я вже батрачил. Пас у пумещика Людаговскага лошадей. Солнце усходить, и я встаю... Раз заснув, а лошады – у клевер. И вокурат у етый самый мумент пумещик проежжав... поля проверяв. Он меня соннага пугою (кнутом) як потянуть... Во було дела-а. Я ускочив: «Пан, бейте сами, только батьке не гаварите... Батька меня насмерть зашибеть...»

А когда, пригнав лошадей, прийшов у хату – батька бив... та што там гаварить, бив и пригаваривав: «Учись, сынок, жить, мать твою в триста богов...» Да-а, батька меня вже здороваго бив... Ну, правда, було за што. Раз – мне уже тада лет двадцать було – усю ночь с хлопцами у суседний Сморкачевки с девками гуляли. А у четыре утра вже у поле выходить нада... Приплевся пьяный, а тут вже усе меня ждуть – стоять кала хаты: батька, матка, браты, Иван да Мишка, а Егор ще маленький був, у хати спав... Батька з топором на меня вдеть. Матка бросилась на него – он ее вдарив. Она об землю!.. Усе вскипело у меня за мать. Батька ее часто бив... У глазах враз усе потемнело, вже не помню, што и як – но пошев прямо на батьку...

«А-а-а! На радного отца руку подняв? Ну, держися...» Побежав батька у хату, а з хаты выходить з ружьем... Целить прямо в меня... Стою. Увесь похолодев, зубы стиснув, сам – ни з места... «Ну, – думаю, – усе, Марк, отжил ты свой век». И батька стрельнув... Осечка, брат... А ружье новое було, осечки не давало. Усе стояли белые, як мел...

«Ну, долго жить будешь, сукин сын. Моли Бога, сынок...» – Вдарив об землю ружье и пошел у степ. Да-а. Вот и скажи, што Бога нет. Новое ружье – и осечка! Не-е, якая-то сила есь... Вон я вже и батьку своего пережив, хай земля ему будить пухум...

...Да-а, ну дальший – у революции служив. Побили усех пумещикув к... матери, та што там гаварить. Да-а, ну а потом, значить, бросили меня з группой наших хлопцев на ето, як его... раскулачивание... Ну а в меня характер, сам знаешь, а када выпью... Та што там гаварить – одним словом, молодой, гар-ря-чий... Аднаго кулака так прижав – насилу ребята оттащили от греха подальший... «Не, Марк, так круто нельзя, нада полегчий». Да он же хлеб прячить, а люди с голоду пухнуть... «Полегчий»... Да-а, ну, словом, ето дело не для меня...

А у ето самое время вокурат усе наши деревенские хлопцы в город подалися, многие подалися. У город, у шахты, у рабочий класс. Ну и я з ими.

И вот у Кривом Рагу, на руднике, десять лет забойщикум був. Там, братва, такие драки были... куда там... Деревенские хлопцы такого зроду не видали. Там меня, наверна, и шас многие помнят. Да-а... А особенно етый брат, – показывал папа на женщину, если в компании слушателей находилась такая. А если женщин не было, то смотрел на маму. – Та што там гаварить... У те годы «етага брата» у меня було... сотни. Ну и любили ж они меня, э-э-э-эх!!! – и, тут же быстро оглянувшись, нежно позвав: «Крошка!» (папа стал маму так ласково называть, когда вес ее приблизился к ста килограммам), и убедившись, что мама не слышала ничего, с удовольствием продолжал и все вырастал и вырастал в глазах мужчин-слушателей. – Да-а,

ну, значить, дальший... да, забыв. У деревни, я, ще хлопцем, веселив девок на двухрядной гармонии. А у Кривом Рагу дело пошло чуковней (шустрей). Перешов уже на трехрядный быян, та што там... Ни адна свадьба без меня не обходилась. И меня усе любили с дорогою душою, ну и я к усем по ласке.

Да-а, так вот, значит, дальший. А дальший – у тридцать втором году – меня высунули в интеллигенцию... Тада много способных хлопцев посылали на высшее образование. Меня в Харьковский муздраминститут. Он тада вокурат стояв на Бурсацким спуски. Выдержав я етый институт усего два года. Во где, братва, испытав я исключительный голод и позор. Та што там, мамыньки родныи... Ну, образование у меня што? – четыре класса поповский школы, ну, немнога техникума у Кривом Рагу. А тут тибе и политэкономия, и «Капитал» Маркса... Куда мне усе ета...

Иногда в компании своих коллег-баянистов, рассказывая о периоде жизни в муздраминституте, папа мог вдруг процитировать наизусть «изречения», которые он запомнил на лекциях. Их он произносил подчеркнуто «литературно», даже букву «г» говорил твердо, как москвичи: «Да, братва, жисть есть борьба. Маркс он тибе не дурак, такую, брат, багатую книжку наскородив... А жить ув обществи и быть свободным от общества никак нельзя, братва. Во какое дело», – чем озадачивал всех своих дружков.

– Да-а, вволю тада нада мной посмеялися городские хлопцы. За што, правда, бывали неоднократно христосованы мною, пока усе не попритихли... Та я и сам чую – ну куда мне за ими, отстаю. Да я ноты одни полгода вчив. А там и теория, и гармония... Выйду до доски, лицом стану, путаюся – усе смеются; спиною стану, усе штаны у латках – смеются. На мне усе трусится, еле здержуюсь... Стипендия – гроши, кишки трищать, одеть нема чего... Хоть «караул» кричи... Да-а...

...И тут вокурат устроився я ув одной школи детям на переменках играть. У раз – десять рублей! А?? Ага! – вижу, дело пошло чуковней. И тут смотрю – секретарь комсомольский организации... такая крепкая, цыцохи большие, глаза прия-ат-ныи... Ну я ей и гаварю: «Будь ласка, барышня, памагите мне детей организовать». Так нежно ей гаварю, ну, словом, подлажу до ней... «Ну конечно, пожалуйста, дядя Гриша» – так интеллигентно отвечать. А меня тогда Гришюю звали. А то, говорить, што ета у тибя за имя – Марк? Нерусское ета имя... Ну як же не русское? Як же не русское, када я родився 23 апреля, на день святого Марка. Так меня Маркую и назвали... Да у меня усе братья: Иван, Мишка, Егор, батька Гаврила Семенович, мать Федора Ивановна – усе русские, да уся деревня русские... У нас других зроду не було...

...Да, так вот ета самая комсомольский секретарь гаварить мне: «Дядя Гриша, с удовольствием помогу вам, только расскажите, научите, пожалуйста...»

...Вот я и навчив на свою голову. Уже тридцать лет вчу... Ета ж и была Лялюша. Ну, Леся. Елена Александровна Симонова. Люсина мать.

Это была моя мама. Тогда она училась в девятом классе. Мама была 1917 года рождения. И папа хоть на год, но сокращал этот трагический для него возрастной разрыв...

## Прекрасное время

Так получилось, что я родилась, и мама школу не закончила. Она стала работать вместе с папой. Мама помогала папе-баянисту проводить массовки и утренники в школах, вечера и праздники на заводах и фабриках. Она стала успешно осваивать профессию массовика.

Потому можно сказать, что я родилась в «музыкальной» семье. А точнее – я родилась в музыкальное время. Для меня жизнь до войны – это музыка!

Каждый день новые песни, новые мелодии. Они звучали по радио и на улицах; с утра, когда папа разучивал «новый» репертуар; вечером, когда приходили гости; у соседей на пластинках. Песни и мелодии я схватывала на лету. Я их чисто пела, еще не научившись говорить.

Папа и мама работали в Харьковском Дворце пионеров. Это был новый красивый Дворец. Он находился на площади имени Тевелева. В большом мраморном зале посередине стоял квадратный аквариум. Там плавали необыкновенные красные пушистые рыбки.

В перерывах между массовками мы с папой бежали к аквариуму: «Дочурка! Якеи рыбки! Я ще таких зроду не видевав. Якая прелесь... божья рыба...» Мама всегда портила ему настроение: «Марк, ты хоть рот закрой. Сорок лет на пороге... Хуже Люси... хи-хи-хи». – «Леличка, ну яких сорок? Ще нема сорок, зачем человеку зря набавлять?» И папа, взяв меня на руки, посылал в мамину спину: «Во – яга! Мамыньки родныи... Ну? Ета ж чистая НКВД! Ничего, дочурочка, зато папусик в тибя самый лучший!»

Ну, конечно, самый лучший! Самый необыкновенный! Я обнимала его, прижимала его голову к своей. Мне было его жалко.

Имя свое я получила за два часа до рождения. Испуганный папа отвез маму в роддом, что был на Пушкинской улице, а сам «на нервной почве» побежал в кино. Тогда на экранах с огромным успехом шел американский приключенческий фильм «Акулы Нью-Йорка». В картине было множество дотоле невиданных, неправдоподобных трюков, погонь, выстрелов... Герой фильма, красавец Алан, совершает чудеса – спускается по канату с самолета на крышу несущегося поезда, в котором увозят его похищенную возлюбленную, прелестную Люси. После сеанса потрясенный папа примчался в роддом и срочно передал маме записку: «Лель! Детка моя! Если в меня будить орел, назовем Алан. Если девычка, хай будить Люси».

Как только я родилась, мама облегченно вздохнула. Первой ее мыслью было: «Слава богу, что девочка, а то был бы Алан Маркович...» У нас во дворе женщина после очередного заграничного фильма назвала своего сына Джоном. Мама говорила, что весь двор хохотал. Джон Иванович Рыбак! Джон Рыбак! Бедный мальчик.

Но в ЗАГСе папе сказали, что такого имени, Люси, в России нет. Есть Людмила. Это старое славянское имя. Означает – «людям мила». А дома называйте как хотите – Люся, Люси... И зачитали папе целый список самых модных в то время имен: Кима, Ноябрина, Искра, Владлена, Сталина, Марклена, Октябрина, Мюда...

– Як его Мюда?..

– Международный юношеский день.

– Гм... не-е, давайте лучший Людмила... «Людям мила»... это мне подходит... это значит, что все люди будут до ней по ласке. Давай пиши! Хай дочурка у меня будить Людмилку.

Из роддома меня привезли на извозчике. Такси в Харькове в 1935 году были еще редкостью. Привезли в нашу маленькую комнатку в большом доме по Мордвиновскому переулку, № 17. С этой комнатой у меня связаны самые светлые и прекрасные воспоминания в жизни.

Комната была подвальной, с одним окном. Я видела в окно только ноги прохожих. Мне было интересно определять по обуви и юбкам своих соседей. Прямо под окном стоял стол. Слева – буфет. В буфете на верхней полке в вазе постоянно лежали конфеты. Я их получала за свои «выступления».

А выступала я перед всеми, кто попадал к нам в дом. Папа тут же усаживал гостя.

– Ну куда, куда ты бежишь? Ну чиво? Сядь, передохни! Га-лава ты... Усех дел не переделаешь. Щас тебе моя дочурка концертик устругнеть.

И начиналось! Папа ставил стул посередине комнаты, я быстро вскарабкивалась на него, руки назад, глаза широко открыты, улыбка самая веселая. Я все делала так, как учил меня папа: «Дочурка, глаза распрастри ширей, весело влыбайсь и дуй свое!» Начинала я со стихотворения:

Жук-рогач, жук-рогач —  
Самый первый силач;  
У него, у жука,  
На головушке – рога!

При этих словах полагалось приставить к вискам два указательных пальца.

Гость вежливо улыбался: «Очень мило, очень мило» – и собирался уходить. «Куда ты? Не-е, брат, ще тока начало! Давай, дочурчинка, песенку з чечеточкую!» Это означало, что в конце песни, какой бы она ни была, надо дать «кусок» чечетки. Я хлопала себя почти одновременно по груди, коленям и, выбросив ногу вперед, а руки в стороны, громко выкрикивала: «Х-х-ха!!»

Эх, Андрюша, нам ли быть в печали,  
Возьми гармонь, играй на все лады,  
Так играй, чтоб горы заплясали,  
Чтоб зашумели зеленые сады!

Папа на баяне – «тари-дари, дари-дам!».

И я свое – «х-х-ха!».

После этого гость обязательно смеялся. Больше всех радовался и подыгрывал мне папа: «Не, актрисую будить, точно. Ето як закон! Усе песни на лету береть, як зверь. Ну, вокурат актриса!»

И человек, который к нам заходил на минуточку, уже через четверть часа под папиным обаянием и натиском совершенно забывал, куда и зачем он шел, почему он оказался у нас, и, конечно, оставался... Папа выразительно смотрел на маму. Мама бежала в магазин. А я продолжала свое выступление.

...Домой человек уходил лишь поздно вечером, держась за стенки, хвалил маму, восхищался «дочуркой», прославлял папу – щедрую русскую душу – и благодарил, благодарил. Папа был счастлив.

Кто бы к нам ни приходил, начиналось так: «Ну, девки, давай скорее на стол, человек у гостях. Лялюша! Давай шевелися чуковней! Штоб усе було як на Первое мая!»

У нас в доме все праздники были как Первое мая. Для меня праздник Первое мая был самым веселым. Папа шел на демонстрации впереди колонны с баяном, весь в белом, брезентовые туфли начищались мелом. Мама, в белой юбке, в белой майке и в белом берете, дирижировала хором. Пели все! И я не помню грустных людей, грустных лиц до войны. Я не помню ни одного немолодого лица. Как будто до войны все были молодыми. Молодой папа, молодая мама, молодые все! И я с ними – счастливая, радостная и, как мне внушил мой папа, «совершенно исключительная».

В левом углу от двери в нашей комнате стояла знаменитая двухспальная кровать с никелированными спинками и шариками, которые я постоянно откручивала. Эта кровать служила моим родителям около тридцати лет, до 1969 года. В тот год они переехали ко мне в Москву. Кровать осталась в Харькове, а им пришлось купить современную тахту, которую папа про-



клинал и благоговейно вспоминал ту незабываемую кровать с сеткой и периной. А может, он тайно вздыхал по тому времени, когда был молодым, сильным...

У папы было очень много друзей. Особенно до войны. «Друзья» – это те, с которыми его связывало дело, баян, профессия. «Кровенные друзья» – это те, с которыми он говорил о профессии за столом. Раз вместе поднимали рюмки – значит, этот друг становился «кровенным», то есть кровным. Без друзей о водке в доме не было и речи. Но стоило папе сесть за стол с «кровенным» – вступал в силу его характер: как это так, чтобы кто-то оказался сильнее его? Чтобы он кому-нибудь уступил?

Были среди друзей и подруги. «Ухажерки». Те, которые ему нравились, за которыми он ухаживал. Одинокие женщины, которых он утешал или словом, или тихонько похлопывал их ниже спины, так чтобы – не дай бог! – не увидела мама. А я все видела и никогда своего папочку не выдавала. Папа всю жизнь до старости пользовался большим успехом у женщин.

Он был прекрасно сложен, выше среднего роста. Очень сильный и чрезвычайно легкий в движениях. Танцевал пластично и любое па брал с ходу. У папы были синие глаза, темные выющиеся волосы и открытый, теплый взгляд. Но самым прекрасным в нем была улыбка! Когда он улыбался – улыбались все! Если представить себе то время, те моды, моего папу с лучезарной улыбкой да еще с баяном в руках... Да ни одна женщина не могла устоять!

Были у него и бесконечные поклонники. После работы около нашего окна его уже поджидали несколько человек.

Я смотрела на маму: чем кончится? Или папа их пригласит в дом, и я буду выступать, или он даст им денег, и они уйдут. И тогда я не буду выступать, а буду слушать сказку.

А один поклонник был непьющий. Он входил, здоровался, глядя неотрывно на папу, садился на диван и клал на колени кепку. Папа сидел напротив, на нашей кровати с шариками, и играл для него. Для таких «настоящих» ценителей музыки папа безукоризненно играл «репертуар», усвоенный еще в муздраминституте: два марша – «Привет музыкантам» и «Старые друзья», танго «Брызги шампанского», польку-бабочку и «Турецкий марш» Моцарта. Этот поклонник все прослушивал, благодарил, прощался, все так же неотрывно глядя на папу, и уходил.

– Что ему от тебя надо, Марк? Ну раз послушал, ну два... Сколько можно? Черт-те что!

– Леличка, он тебе мешать? Хай человек слушать... И мне тренировка...

Среди поклонников были и нищие. Они знали все его маршруты и поджидали папу на дороге. Все знали его по имени и отчеству. Еще бы! Щедрее никто не одаривал! Папа останавливался, разговаривал с ними, расспрашивал. Ему все было интересно.

До войны каждое утро в нашей маленькой комнатке раздавался стук в окно. В форточку просовывалась голова растрепанного человека. У него в горле была резинка, а на кадыке железка с дыркой, из которой вылетал свист. Он был калека. Звали его Андрей. Я не могла к нему привыкнуть. При виде его всегда забивалась в угол.

– Да ты не бойсь его, дочурка. Ета хороший человек. Людям усем нада памагать... Ты даешь, и тебе Бог дась... Во, моя детка...

Этот Андрей приходил к нашему окну каждый день, как на работу. Постучит, подождет, а потом хрипит: «Марк Гаврилович! Здравия желаем...»

– Иди, – ядовито говорила мама, – твой дружок пришел...

– Полегчий, полегчий, девка, на поворотах, а то быстро у меня схватишь. – И, широко улыбаясь, вырвав у мамы деньги, направлялся к окну. Деньги всегда были у мамы. Папа их моментально тратил или безвозмездно отдавал «взаймы». Андрей мне не нравился. Тут я была на маминой стороне. Такой нахальный, неприятный человек, а папа с ним так...

Этот калека всегда сидел на углу Рымарской и нашего Мордвиновского переуллка. Около того здания, с которым у меня потом будет так много связано...

При вступлении немцев в Харьков в этом здании была сперва немецкая ремонтная часть, затем – немецкий госпиталь. Когда Красная армия в первый раз освободила Харьков, в нем был наш красноармейский госпиталь. Потом немцы вновь взяли Харьков. Опять в этом здании разместился немецкий госпиталь. И, наконец, 1 сентября 1943 года оно стало моей школой № 6. В этой школе я проучилась все десять лет.

## Война

Было так весело и празднично. Было лето. Наш детский сад на лето переехал в Ольшаны, под Харьковом. На всех праздниках в садике я пела, на Новый год была Снегурочкой. Воспитательница говорила папе и маме: «Ваша Люся должна стать актрисой». – «Да! Ета ув обязательном пырядке. Так и будить!» – заверял ее папа. Я была влюблена в мальчика Семочку. На сохранившихся фотографиях мы с ним везде рядом.

И вдруг родители срочно увозят нас в Харьков. Еще утром мы были в лесу на прогулке. Нарвали ромашек и сиреневых колокольчиков. А вечером уже оказались дома, и увядший букет лежал на диване... Все оборвалось мгновенно, неожиданно.

Всего пять с половиной лет я прожила «до войны»... Так мало!

«Война, война, война... Сталин, Россия... фашизм, Гитлер... СССР, Родина...» – слышалось отовсюду.

Что такое война? Почему они ее боятся? Мне было очень любопытно – что такое «пострадало от бомбежки»? Как это выглядит?

После бомбежки мы с папой пошли в город.

– Марк, не бери Люсю. Там могут быть убитые. Зачем ребенку видеть это?

– Ребенок, Леля, хай знать и видеть усе. И хорошее и плохое. Усе своими глазами. Жисть есть жисть, моя детка.

Мы пошли в центр, на площадь Тевелева. Во Дворец пионеров попала бомба. Середина здания, там, где был центральный вход, разрушена. Окна выбиты. А как же красные пушистые рыбки? Где они? Успели их спасти?

Городской пассаж, что напротив Дворца, был разрушен совершенно, и даже кое-где еще шел дым.

«Да, усе чисто знесли, зравняли з землею... ах ты мамыньки родныи...»

Я так любила ходить в пассаж с мамой! Мне он запомнился как сказочный дворец! Много-много света! И сверкают треугольные флакончики одеколонов: «Ай-Петри», «Жигули», «Кармен»... их много, бесчисленное количество. И мама счастливая, как на Первое мая!

А теперь – бугристая, еще горячая груда кирпичей...

От Дворца мы пошли по Сумской улице к нашему дому. Около ресторана «Люкс» лежала раненая женщина. Других, более пострадавших, наверное, уже увезли в больницу. Она лежала на правом боку. Левое плечо у нее было раздроблено, и цветастая кофточка вдавилась внутрь. Широкая белая юбка от ветра поднималась. На ноге, повыше колена, осколком вырвало кусок мяса. От ветра юбка закрыла лицо, и видны были только белые трусики. «Товарищи! Кто-нибудь, пожалуйста, поправьте юбку...

Как стыдно... Товарищи, дорогие товарищи, пожалуйста... Так стыдно...» – твердила она монотонно. Лицо у нее было совсем серое. Она даже не стонала. Неужели ей не больно? Почему она не кричит? Почему она говорит «товарищи, товарищи»?

На своем месте, около моей будущей школы, сидел Андрей, склонив на грудь лохматую голову. Перед ним лежала на тротуаре его потертая кожаная кепка. Его убило осколком в спину. Он так естественно сидел, что никто и не подумал, что он мертв. Сидит нищий и сидит... Андрей был первым человеком в моей жизни, которого я увидела неживым. Как это? Был – и больше нет...

«Усе, Лель, Андрей нам усем приказав долго жить... Усю спину ему разворотило. Хай земля ему будет пухом. Эх, браток...»

Папа ушел на фронт добровольцем. В первые дни войны его возраст считался непризывным. Тогда мне папа казался молодым и здоровым. Только много позже я узнала от мамы, что

он был инвалидом. После работы на шахте у него на животе были две грыжи. Операция не помогла. Он всю жизнь носил бандаж, который сильно вминался в живот с двух сторон. Ему нельзя было поднимать тяжести. Но я помню, как он то и дело поднимал тяжелые вещи (один только баян весил 12 килограммов). После той шахты у него всю жизнь был сильный кашель. Когда он кашлял или смеялся, он всегда придерживал живот.

Папа ушел на фронт. Мы с мамой остались в Харькове. Филармония, за которой числились родители, имела строгий лимит на эвакуацию. В первую очередь эвакуировали заводы, фабрики, предприятия... а филармония и, тем более, штатные работники – позже. Так мы и просидели с мамой на переполненном вокзале с чемоданами и мешками. А потом вернулись домой.

Маме было двадцать четыре года. Она ничего не умела без папы, всего боялась. Когда папа уходил на войну, она была совсем потерянной и все время плакала:

– Марк, как же нам быть? Что же делать, Марк? А? Не оставляй нас... Я боюсь...

– Не бойсь, Лялюша, не бойсь... Ты девка умная, чуковная... Што ж, детка, сделаишь... Жисть есть жисть... Дочурочка тебе помочь... А я не могу больший ждать... Пойду добровольно защищать Родину! Ну, с Богум...

Папа ушел и унес с собой баян. А вместе с ним унес самые прекрасные песни, самый светлый праздник – Первое мая, самое лучшее в жизни время. Время – «до войны».

## Вали

24 октября 1941 года в Харьков вошли немцы. В городе как будто все вымерло. Только по булыжной мостовой Клочковской улицы шли немецкие войска, ехали машины, танки, орудия. Не было ни выстрелов, ни шума. Жители группками осторожно спускались вниз по Клочковской, чтобы поближе разглядеть: какие же они, немцы?

Немцы шли, ехали молча. Никакой радости, никакого ликования по поводу взятия крупного города не было. Все холодно, четко, равнодушно. На жителей не смотрели. Мы разглядывали их дымчато-серую форму, лица, погоны. У некоторых под подбородками висели железные кресты. Впервые увидели и немецкие танки, тоже с крестами.

Несколько дней было затишье. Вообще не чувствовалось, что вошли враги.

Началось все позже.

Началось с того, что собрали всех жителей нашего дома, оставшихся в оккупации, и приказали освободить дом. «Здесь будет расквартировываться немецкая часть». Первый раз я услышала немецкую речь. Немецкий офицер был немолодой, говорил вежливо. А вот переводчиком... как же это? Вот это да! Из нашего дома – Илья?!

– Илья, мам, смотри, дядя Илья! Ты видишь, мама? – дернула я маму за платье, пытаюсь развернуть ее к себе. Мне нужно было заглянуть ей в лицо. Мама меня сильно ударила, испуганно оглянулась на жителей нашего дома и шепотом приказала, чтобы я никогда больше не болтала глупостей.

– А то нас убьют... поняла?

Наш дом распался. Кто куда. Разбрелись по разным квартирам. Мы с мамой попали в четырехэтажный дом, в квартиру на четвертом этаже. Этот дом стоял по тому же Мордвиновскому переулку, только ближе к Рымарской. Из окон нашего жилища, из комнаты соседки видна была слева, внизу, Клочковская, а справа, вверх, – Рымарская. Крутой, горбатенький Мордвиновский переулок соединял эти две параллельные улицы. Нашей соседкой по квартире оказалась женщина с ребенком. Девочку звали Зоя Мартыненко. Мать у Зои была большая, кривоногая, с лицом, побитым оспой. Она с утра уходила, а девочка целыми днями сидела одна «под замком». У Зои Мартыненко был очень хороший слух. От нее первой я услышала немецкую песню:





«О, танненбаум, о, танненбаум. Ви грюн зинд дайне блетер...» Она пела в комнате «под замком», а я слушала и запоминала в коридоре. Песне ее научил немец, который стоял у них на квартире, пока их с матерью не подселили к нам. Что означают эти слова, я так и не узнала.

Главным же персонажем нашего нового дома была женщина двадцати девяти лет – Валентина Сергеевна Радченко – Вали! Так она себя называла. Она родилась в украинском городе Волчанске. В Харькове все говорят с украинским акцентом. У Вали был такой чудовищный акцент, что его чувствовала даже я. Чтобы услышать ее речь, нужно все гласные и звонкие согласные произносить буквально, не редуцировать, то есть «войська», «пирожки» и т. д.

Никогда еще в своей жизни я не встречала более экстравагантной дамы! Как сказал бы мой папа, в ней наверняка было что-то «артистическое».

Вали была высокого роста, с длинными ногами, приятным лицом и голубыми глазами. Ее роскошные пышные волосы стали предметом моей зависти. С детства меня регулярно стригли под машинку, оставляя один чубчик. Волосы Вали красила. Однажды, намазав их перекисью, она прилегла и заснула. А проснувшись, прибежала к нам в ужасе: волосы на той стороне, что была прижата подушкой, превратились в липкую массу, кисель. И отвалились прямо на наших глазах.

Но Вали была бы не Вали, если бы не придумала выхода. Наутро волосы были зачесаны слева направо и прекрасно закрыли плешь около уха. Она их собрала и заколола розовым бантиком. У нее везде были бантики: на платьях, на занавесках, на абажуре. Я на всю жизнь полюбила бантики.

За ночь Вали сшила себе шляпку из коричневого бархата и оторочила ее кусками рыжей лисы. Я была в восторге. Вали мне казалась волшебницей. Эта шляпка, надетая набекрень, не только прикрывала отвалившиеся волосы, но как нельзя лучше сочеталась с ее плюшевым пальто – коричневым, с тигровыми брызгами. Сзади пальто было расклешено. При ходьбе фалды металась из стороны в сторону. У меня аж дух захватывало. Походка у Вали была подпрыгивающая. Голову она держала высоко. Когда она шла по улице, на нее оглядывались все. Тогда было модно подкладывать плечики. У нас было так много этих ватных треугольников, что мы даже топили ими железную печку. А тетя Валя делала такие высокие плечи... Шея просто утопала в них... Шик!

Туфли она пошила из коврика. «Леля! Как тебе мои ковровые туфельки? Хо-хо!»

И опять она – чудо! Женщина сама себе сшила не платье, не пальто... Туфли! К старой подметке и истрепанному кожаному верху туфель она пришила покрытие из ковра! Вот это мастерица!

С отъездом папы образовалась пустота. Я не могла найти себе места. Все люди казались мне скучными и пресными. И конечно, я по уши влюбилась в тетю Валью. Я ходила за ней как тень. Я изучала все предметы в ее комнате. Сколько там было диковинного! Кровать с железными спинками причудливой формы. На спинках – на голубом небе с дымчатыми облаками летят розовые ангелы с белыми цветочными венками на голове! Царская кровать! Иногда мне разрешалось на ней полежать. Но предварительно тетя Валя накрывала ее старым одеялом: «Ложиться на чужую постель, доця, негигиенично, запомни это на всю жизнь».

Она вскоре сообщила маме: «Наша доця будет артисткой, Леля. У меня глаз набитый. Я ведь тоже артистка... О! Если бы не война... Хо-хо!»

На стенах у нее висели фотографии актрис немого кино и цветные открытки, на которых изображены были любовные парочки. Они висели вперемежку с веерами из перьев и боа. У тети Вали была даже приплетная коса. О ней я тайно мечтала. Вот бы пройтись по улице с такой длинной косой!

...Я рассматривала открытки. Тетя Валя ходила по комнате, перебирая свои бесчисленные флакончики, и напевала вальс Штрауса. Я была от счастья на седьмом небе! Мне грезил

лись сказочные феерии. Я вся в белом, в розовых перьях, с золотом. Или я – вся в черном с пушистой белой муфтой. И музыка, музыка, музыка!

– Тетя Валя! Какие же красивые тети у вас висят!

– Тети? Хо-хо! Это не тети, доця. Это все я!

Ничего общего с тетей Валею эти дамочки с черными челками и с продолговатыми лицами не имели. Но, боясь потерять ее дружбу, боясь ее обозлить или обидеть, я робко говорила:

– Ой, тетя Валя, вы в жизни лучше...

– А что же ты хочешь, доця? Это же мастерство! Такая, доця, профэссия. Это ведь характерные роли...

Тетя Валя явно имела отношение к театру. Она произносила такие «артистические» слова, как «мастерство», «профэссия», «роли»...

## Грабиловка

– Марк! Гостей мы приняли «як люди», а назавтра совсем нет денег.

– Возьми в соседки.

– А дальше что?

– А ничего. Што дальший? Што Бох пошлет. И не нада меня, Леличка, копировать, добром прошу тибя, уважь.

Утром стук в дверь: «Марк Гаврилович! Не откажите. Отыграйте у нас на свадьбе».

– Лель! Што я тибе гаварив? Деньги сами в руки идут... За мною не пропадешь! За хорошим мужум и чулинда жена...

Так мы и жили до войны. Сегодняшним днем. Перед самой войной мама удивлялась: «Ты знаешь, Марк, сегодня Маковецкие несли из магазина мешок соли. Зачем им столько соли? Что солить? Идиотизм какой-то...»

Как часто мама теперь говорила про эту соль. Смысл ранее непонятных слов «на черный день» стал доходить до нас. Каждый день становился все чернее и чернее.

Наше новое жилище на четвертом этаже состояло из двух просторных комнат. Первая была с балконом. Наша половина выходила на большой квадратный двор. А половина тети Вали и Мартыненко – на Мордвиновский переулочок.

Балкон на всю жизнь стал для меня символом холода. Если в доме есть балкон, значит, в нем холодно. После нашей маленькой темной комнатухи эти две светлые комнаты казались огромными залами. Я и сейчас боюсь больших комнат. Это не значит, что я думаю о войне. Просто холод с детства пронзал меня так глубоко, что я чувствую его намного раньше, чем он наступает.

В эту квартиру перекочевала и кровать с шариками. И стол. И буфет, в котором по-прежнему стояла ваза. Теперь она была покрыта пылью.

Выпал снег. Начались холода. Постепенно все, что составляет человеческий организм, перестроилось на волну: «хочу есть», «как и где достать поесть», «не умереть с голоду».

В городе самым ходовым стало слово «грабиловка». Что это такое? Если бомба попадала в склад с продуктами, люди, вооружившись мешками и ведрами, толкая и обгоняя друг друга, бежали «грабить». Многие не возвращались. Немцы расстреливали тех, кто замешкался и не успел скрыться. Люди хватали все подряд, что близко лежало, не нюхая, не читая надписей на ящиках. Лишь бы добыть что-то и поскорее унести домой.

Мама всегда боялась. Но страх, что я совсем ослабею от голода, заставлял ее пересиливать себя и тоже оказываться в этой толпе... Я стояла у парадного и ждала маму. А вдруг с ней что-то случится и я останусь одна? Невозможно так долго ждать...

Я увидела ее, как только она появилась из-за угла Клочковской. Она медленно поднималась вверх по нашему крутому переулку. На спине мама несла, согнувшись, тяжелый ящик. Я побежала ей навстречу. Я так была счастлива, что она жива, что она вернулась! И вдруг из парадного ей преграждает путь мужчина без пальто и шапки, толкает ее; ящик падает на землю. Я вижу, как мама умоляюще протянула к нему руки. Еще быстрее бегу вниз. Мужчина здоровенный. Эх! Был бы сейчас мой сильный папа! Он бы его одним ударом сбил с ног. И вдруг я как закричу: «Мамочка! Не бойся! Вон наш папа уже бежит!» Вырвалось у меня это. Вырвалось – и все! Мужчина воровато оглянулся, схватил банки, которые высыпались из ящика, и быстро исчез в подъезде. Я успела его рассмотреть. Вблизи он не казался таким огромным. Он был черный, волосатый, похоже, что армянин.

Вдвоем мы еле-еле подняли этот ящик. Такую тяжесть моя худенькая (тогда еще худенькая) мама могла поднять и нести только в состоянии необычайного возбуждения.

Уже около дома, когда мы поняли, что ящик наш, мы с нетерпением фантазировали: ну, что же там, в этих банках? Наверное, мясо! Ну, что еще хранят в таких банках? Пришла тетя Валя. Дома, как назло, не было консервного ножа. Мы пробили гвоздем в банке дырку и стали нюхать... Это оказалась томатная паста для борщей. Не мясо, но все же...

...Мы увидели из окна, как что-то горело в районе кондитерской фабрики. После бомбежки в городе было очень дымно и пахло гарью.

– По-моему, горит КАФОК, – сказала мама. (Так сокращенно называли кондитерскую фабрику.) Внизу, по переулку, уже беспорядочно бегали жители с ведрами, мешками и корзинами. – Пойду. Ты – к тете Вале.

Я представляла, как мама несет мне из КАФОКа любимую шоколадную «бомбу». До войны не было ни одного праздника, чтобы папочка не принес мне шоколадной «бомбы». У нас была постоянная игра:

– А что я принес дочурке?

– Конфеты!

– Не-а...

– Пирожное!

– Не-а...

– Зефир!

– Ну, дочурка, давай думай чуковней!

– Бомбу!

– Пр-равильна! Усе чисто сображаить...

Сначала надо было снять с этого круглого шоколадного мячика золотую бумажку.

– Та-ак, знимим золото и...

– Разобьем!

– Исключительна правильна!

Главный сюрприз – внутри «бомбы». Там могли быть деревянные матрешки, кувшинчики, сердечки. Всегда неожиданность, но обязательно радость. Жалко, что после войны в кондитерских магазинах уже не было шоколадных «бомб». Наверное, потому, что люди знали, что такое бомба. С этой бомбой слово «игра» не сочеталось.

С КАФОКа мама принесла ведро коричневой горькой массы – патоки. Если ей удавалось что-то раздобыть, она была просто счастлива.

На этот раз она пришла вся оборванная, в саже. Молча поставила ведро и сразу пошла к тете Вале. Я тут же залезла в ведро языком. Ой! Это даже повкуснее шоколадной «бомбы»! Какая хорошая мама, целое ведро!

А чего это она сразу к тете Вале направилась? Даже ни слова мне не сказала? Надо подслушать. Я тихонько подкралась к тети-Валиной двери.

– Орут, кричат. Люди прямо из огня ящики вытаскивают, а ящики в руках горят. Я не смогла. Стою, меня швыряют во все стороны. Вдруг как обвалится этаж! Все бросились в другую сторону, кричат! Кого-то засыпало, придавило... Вдруг: «Сюда! Сюда! Здесь патока!» Ой, Валя! Представляешь – стоит внизу чан, прямо в пол встроен, ну, представляешь... Такой большой! Да больше, чем твоя комната, только круглый, как пруд. Сзади толкают, торопят. Немцы вот-вот. Свалиться в него можно в два счета... Господи! Валя... Только я об этом подумала... Дядька напротив меня – тянул целую выварку и вдруг упал вместе с ней, она его перетянула... Упал, и его тут же засосало... А все продолжали набирать ведра, тазы, и я тоже. До сих пор все внутри трясется! Не могу... Как жить? Люсю жалко. Детство называется.

Мы съели патоку. Это было такое лакомство в ту страшную зиму 1942 года!



После этой грабировки моя мама подпоясывала пальто папиным ремешком. Все пуговицы на пальто были вырваны «с мясом». Пуговиц не было, ниток не было, иголок не было... Так ходили многие женщины.

В 1975 году я снималась в фильме «Двадцать дней без войны», играла Нину Николаевну. Шубка у меня была подпоясана таким же ремешком, какой был у мамы. Кто-то из съемочной группы заметил: «Братцы! Потрясающе! Смотрите – на фотографиях тех лет женщины вот именно с такими ремешками. Это прелестно! Это очень женственно. Подумать только – война, а мода свое берет!»

Я хотела рассказать тогда, откуда появилась эта «мода», но для того, чтобы при этом быть убедительной, мне нужно было бы целиком уйти в атмосферу моего детства... При одной мысли об этом времени мне стало холодно, одиноко и страшно.

За окном солнце. Я актриса. Снимаюсь. В журналах печатают мои фотографии и статьи обо мне. Все прекрасно! Но глубоко в душе есть холодный тайник. И я боюсь его открыть. Я его открою. Только не сейчас. В самой трудной и обнаженной сцене он мне понадобится.

Потому я и сказала тогда: «Друзья мои, женщина всегда остается женщиной! Во все времена. Кстати, сейчас в последнем французском журнале дорогие шубейки подпоясаны кожными кушаками. А? Намотаем на ус... Ах-ах-ах...»

Играя роль Нины Николаевны, я напряженно жила жизнью моей молодой мамы. Как она была беззащитна! Как она была беспомощна! Как жаждала любви, моя мама!

## Казни

На каждом доме немцы вывешивали приказы-объявления. В них говорилось, что в такое-то время всем здоровым и больным, с детьми, независимо от возраста, собраться там-то. За невыполнение приказа – расстрел.

Главным местом всех событий в городе был наш Благовещенский базар. Здесь немцы вешали, здесь устраивали «показательные» казни, расстрелы.

Жители города сотнями шли со всех концов на базар. Образовывался плотный круг. Впереди – обязательно дети, чтоб маленьким все было видно. Внутри круга – деревянная виселица со спущенными веревками. На земле несколько простых домашних скамеек или деревянных ящиков. Дети должны были видеть и запоминать с детства, что воровать нельзя, что поджогом заниматься нельзя. А если ты помогаешь партизанам, то смотри, что за это тебе будет...

Из темных машин выводили в нижнем белье мужчин с дощечками на груди: «Вор», «Поджигатель», «Партизан».

Тех, кто «Вор» и «Поджигатель», подводили к виселице, вталкивали на скамейку и, не дав опомниться, выбивали скамейку из-под ног.

Операция «Партизан» была самая длинная, изуверская и... «торжественная». Самого слова «партизан» немцы боялись патологически. Мужчин в городе было очень мало. Но и те немногие прятались по домам. Выходили только ночью. Носили в дом воду. Выполняли тяжелые работы для семьи. К январю – февралю 1942 года в каждом мужчине немцам чудился партизан. К казни «партизан» немцы готовились, тщательно режиссировали это «зрелище».

Опять же из машин очень медленно выводили нескольких человек в нижнем белье со связанными руками. Они стояли на трескучем морозе так долго, что это казалось вечностью...

Сначала длинный приговор читали по-немецки. Потом так же длинно переводчик читал этот приговор по-русски с украинскими словами вперемежку. Пар вырывался у него изо рта, замерзал и превращался в сосульки. Они висели на бровях, на усах, на носу. Клубы пара поднимались над толпой и застывали. А люди в нижнем белье и босиком стояли и стояли...

И один раз приговоренный к казни через повешение не выдержал и крикнул: «Давай, сука! Чего тянешь?»

Толпа загудела. Защелкали автоматы. И вдруг над толпой раздался высокий голос: «Сыночки ж мои родненьки! Быйтэ их, гадив! Мий сыночок на хронти...»

Она еще что-то кричала, но ее уже отталкивали в сторону. Раздалась автоматная очередь. Все смолкло. Стояла тишина...

Как только казнь была совершена, немцы быстро, прикладами в спину, разгоняли людей. Они боялись всяких бунтов, выступлений масс.

Я не могла смотреть, как выбивают скамейку, и человек беспомощно бьется... Первый раз я еще ничего не знала. Я не знала, что такое «казнь через повешение». И смотрела на все с интересом. Тогда мне стало нехорошо. Что-то снизу поднялось к горлу, поплыло перед глазами. Чуть не упала. Потом я уже все знала... Я боялась повторения того состояния. Я уткнулась лицом в мамин живот, но вдруг почувствовала, как что-то холодное и острое впивается мне в подбородок. Резким движением мое лицо было развернуто к виселице. Смотри! Запоминай! Эти красивые гибкие плетки, похожие на театральный стек, мне часто потом приходилось видеть. Их носили офицеры.

Тогда мне было шесть лет. Я все впитывала и ничего не забыла. Я даже разучилась плакать. На это не было сил. Тогда я росла и взрослела не по дням, а по часам.

## Сказенки

Посередине комнаты стояла железная печка. Мы сожгли всю деревянную мебель. Мама завидовала тем, у кого была деревянная кровать. А наша железная – не горит. Тепла от печки хватало ненадолго... И опять холод, холод... Из окон дуло. Из щелей балкона дуло. С внутренней стороны окна были сантиметров на десять покрыты льдом. На ночь мы затыкали щели полотенцем или тряпкой, и наутро их уже было не оторвать. Вода в ведре покрывалась за ночь коркой льда. Целыми днями мы лежали с мамой в одежде, набросив на себя все, вплоть до ковриков дорожек. Тулились ближе друг к другу, чтобы согреться, и молчали. Говорить не было сил. Каждый тихо лежал и думал о своем. Я думала о папе...

...Вот мы идем с папой по Сумской улице. Папа покупает все, что мне хочется. А я все время задаю ему вопросы: «А что это? А кто это?» И он с удовольствием отвечает. На ходу перевоплощается в продавцов, животных, милиционеров – в тех, кто меня интересовал. И так нам весело, так интересно... «Якая умная девычка! Исключительно допытливая».

Один раз я его сильно озадачила. Увидев издали нашего знакомого, папа мне сказал:

– Дочурка! Хто ета? Познай. Во-онин идеть...

– Папусик, почему ты говоришь «вонин»? Надо говорить «вон он», понимаешь? Ты неправильно говоришь, папа.

– Лель! Ты скажи на милость, такая соплюшка и вже заметила.

А через время:

– Лель! Ета ж скока Люси тогда було? Года четыре? Ну да, четыре года. И вже радного отца вчила. Та што там гаварить... Во ребенок!

В детстве я тайно страдала, что папа так неграмотно говорил. Был даже в моей жизни позорный период, когда я его стеснялась. Правда, это длилось недолго. Как мне теперь стыдно за тот период!

Чем старше я становилась, тем все больше и больше задумывалась, как могло произойти, что два этих совершенно разных человека – мои отец и мать – могли прожить вместе всю жизнь...

В разные годы своей жизни я приставала к маме с одним и тем же вопросом:

– Ну как ты – умная, из интеллигентной семьи – могла выйти за папу? Ну, скажи, мам, неужели ты не слышала, как он говорит, какой у него характер? Ведь это же сразу видно. А? Ну, мам, ну скажи...

– Ну, видела... – всегда неохотно отвечала мама.

– Ну и что же? Скажи, мам! Мне это очень нужно... пожалуйста!

– Не знаю... вот так... Ах, ну зачем тебе это? Этого не объяснишь.

Люди тянулись к нему. Везде он был в центре внимания. Не успеешь прийти с папой в незнакомое общество, как вскоре около него компания, шутки, смех. Услышав веселье, со всех сторон присоединялись и другие. «Ну когда успел? Что за человек?» – тихо жаловалась мама, хотя я видела, что ей это приятно.

Многие пользовались его добротой, многие его обманывали.

– Лель! Сегодня видел Удава.

– Он тебе деньги отдал?

– Да не-е, он, як увидев меня, зразу голову – брык униз, мол, на земле шо-та ищить...

А я думаю – дай перейду на другую сторону от греха подальше. Не, Лель! Он не оддась – его дело пиши пропало... Он же за копейку з церкви спрыгнуть.

«Удавом» папа прозвал своего коллегу, баяниста дядю Сеню. Это прозвище дядя Сеня получил за скупость, за то, что много и жадно ел. Мы с мамой смеялись до слез, когда за столом

папа показывал Удава во время обеда: «Во жреть! Мамыньки родныи, не успеишь у сторону голову отвести – на столе вже ничегинька нима! Тока блысь – и кругом чисто! Ну скажи на милысть, жреть, як удав».

Удав да Удав. А что зовут Семеном, все забыли, даже его жена. Она жаловалась маме: «Все проедаем... Точно твой Марк назвал Удавом».

Папа многим давал прозвища. Был Паштетик – тоже баянист. Маленький, толстенький, рыхлый. На закуску любил больше всего паштет и называл его любовно – паштетик. «Леля! А паштетик для меня будет?» – «Да ты сам як паштетик. Такой увесь мякенький, прямо як баба... Ну, давай, Паштетик, садися чуковней...»

Был и Пароходик. Баянист дядя Шура. Прозвище получил за то, что его лицо как-то странно выдавалось вперед и напоминало нос парохода. Но дядя Шура был хороший и добрый человек, и папа его называл Пароходик.

«Ну, Паштетик, Пароходик! Давайте – за честь, за дружбу!» Это был знаменитый и постоянный папин тост. Многие запомнили этот тост и Марка Гавриловича... Какие бы витиеватые и остроумные речи ни произносились за столом, папа всегда терпеливо дожидался конца, а потом вежливо заключал оратора: «Ну, так, значить, за честь, за дружбу?» О чем бы ни был предыдущий тост, папин «за честь, за дружбу» подходил ко всему и как бы ставил нужную точку.

Когда папочке было уже семьдесят лет, он жил в Москве. У него и здесь были друзья-пенсионеры. Они тоже имели прозвища. Был Чугун. Папа его прозвал так за крепкое сложение, да к тому же тот всю свою жизнь проработал на чугунолитейном заводе. Второй – Партизан. Во время войны он был в партизанском отряде. Чугун и Партизан – два опрятных старичка с собачками – осторожно стучали три раза в дверь. Они боялись маму и потому не звонили, чтобы не причинять беспокойства. А когда мама открывала им, они испуганно и ласково спрашивали ее: «Марк Гаврилович выйдет вечером гулять? Без него... скучно. Передайте, что мы его ждем в садике...»

Удав, Паштетик, Пароходик, Чугун, Партизан... Все ждали папу. Ждали его рассказов. Он умел в «историях» перемежать грустное и трагическое с неожиданными юмористическими отступлениями. «Его – штоб дать людям передых». Папа интуитивно точно режиссировал свои приукрашенные импровизации и держал всех в крайнем напряжении.

Самые яркие мои впечатления детства – папины сказки. Сказенки. Придя с работы домой, папа снимал свой баян с плеч, ставил его на стул и шел мыться. Мама шла по длинному коридору на коммунальную кухню готовить ужин. А я была в ожидании, когда же папа скажет: «Ну, дочурка, якую тибє сегодня рассказать сказенку? Веселую или жалостливую?»

Вопрос этот он задавал каждый вечер. Одновременно происходила отрепетированная мизансцена: папа ложился на нашу кровать с шариками, а я торопливо усаживалась ему на грудь, чтобы тут же бодро воскликнуть:

– Жалостливую!

– Для дочурки ув обязательном пырядки! – И начиналось...

Папа знал три сказки, но они всегда были новыми. Он их называл «ВоRгниво», «Медуза горгона». Много позже эти сказки – «Огниво» и «О Медузе горгоне и храбром Персее» – я прочла. Они мне показались серыми и скучными по сравнению с цветной, яркой папиной интерпретацией.

А третий сюжет был самый волнующий. «Вольный». Тут что хотел, то и говорил. Заворачивал в любую сторону. Сюжет про бедную девочку, которую выгнали из дома. При помощи волшебных сил она скоро становилась большой, богатой и красивой. И вот пришло время выбирать себе жениха. Этого момента я ждала, аж дух замирал. По-папиному все женихи должны были выстроиться в длинный ряд и ждать, кому же принцесса-красавица отдаст предпочтение.

– Ходить она ат аднаго да другога... И никого не хочить обидеть... И етый парень красивый, здаро-овый, но идетъ она дальший. И враз остановилася. Глаза в землю опускаить и гаварить: «А ета мой муж!» И одеваить ему на палец кольцо! Усе у драгоценных каменнях. И выбрала она, дочурочка, високага, чернявага, маладога орла! Глаза блестять, як у цыгана, нос горбом, зубы як мел, вусы як у Буденнага... А он ей и отвечаить: «Спасибо тебе, барышня, буду служить тебе верую и прав-дую!»

И я себя представляла той бедной девочкой, которая становится принцессой, и втайне грезила, какой же он будет, этот высокий, чернявый... Это папа с детства нарисовал мне идеальный портрет героя. Бедный папа. Он и не представлял тогда, сколько ошибок и разочарований предстояло мне испытать впоследствии. Сначала в поисках этого «высокага, чернявага», а потом уж и после встречи с ним...

Папа делал все, чтобы я его любила больше, чем маму.

– Эх, дочурочка, було ета у тридцать шестом гаду. Мы з мамою у санатории работали, под Чугуевом. Да-а, иду я вокурат з работы... Вечереить. Смотрю, ах, ты ж мамыньки мои родныи! Стоить моя дочурка кала заборчика, як сиротка, одна... качаится. Тибѣ ще тока десять месяцев було. А ета твоя мать усе твои грязныи пеленки у мешок поклала, пувесила мешок тибѣ на плечо, а ты ще ходить не вмела... Она тибя и прихилила до заборчика... «Уходи, куда хочешь! Надоело мне тибя кормить и твои пеленки стирать. Уходи у лес з глаз долов!» А папусик твой тут як тут! Увидев свою дочурочку, узав на руки и горька заплакав, што мою клюкувку, мою богиньку так мать родная обижаить... Чуть ребенка з дому не выгнула...

Мы с папой принимались плакать вместе. По-моему, ему даже нравилось наблюдать за тем, как я плачу...

Входила с ужином мама. Тут же понимала, про что шла речь. А я, прижавшись к своему защитнику, холодно смотрела на нее. Я представляла, как она меня, такую маленькую и беззащитную, прогоняла в лес...

– Марк, ну что ты болтаешь? Ведь это была шутка! Ты ведь сам предложил: «Давай, Лель, ты выгоняй, а я буду спасать»... Забыл? А теперь ребенка настраиваешь против меня. Обязательно тебе нужно быть лучше всех. Черт-те что!..

С папой надо было уметь подбирать слова. Но в тех случаях, когда его открыто разоблачали, он смеялся добродушно и тут же переводил разговор на другую тему.

– Эх ты, галава! Глянь, як дочурка реагируить... Я плачу, она враз плачить, аж борода (подбородок) трусится... Ну вокурат, як в меня. Я смеюся, и моя дочурочка тут тибѣ влыбается. Не, Лель, актрисую будить! Ето як закон.

– Ну зачем ты это так безапелляционно утверждаешь, Марк? Надо быть реальным. Люся девочка неглупая, но она некрасивая. Подумаешь, плачет и смеется! Кто этого не умеет? Хи-хи-хи...

Тут моя неприязнь к маме вырастала с невероятной силой.

– Втикай, пока не схватила... А то щас встану... – И папа чуть приподнимался на локтях...

Маму тут же как ветром сдувало.

– То-та! Во с кем, дочурочка, я живу! Чистая яга! Сама ничегинька не вмеить... Иголку и ту в руках держать не вмеить... Я ей профессию у руки дав, на дорогу жизни вывив... У-ух, какой неблагодарный человек... Во невлюддя, чистая атбайла...

Я узнала от папы происхождение слова «отбайло». Оказывается, в шахте так называли отбитую породу, которая за ненужностью выбрасывается.

– Не плачь, моя ластушка! – говорил он мне и посылал маме далеко, на коммунальную кухню: – Моя дочурочка ще погремить. Тада увидишь! Успомнишь, что гаварив Марк. Дай мне Господь Бог дожить до етага! Тока штоб фамилию не изменила, штоб усе знали: ето дочурка Марка Гавриловича Гурченко...

Мы лежали с мамой. Есть совсем не хотелось... Почему папа должен «дожить»? Он будет жить всегда. Почему я должна сменить фамилию? У меня всегда будет папина фамилия. Я так близко слышала папин голос...

Интересно, о чем сейчас думала мама?

## Прорубь

Мамины скупые рассказы об оккупации глубоко врезались в мою память. Стали как будто моими собственными. И теперь, рассказывая, я вдруг ловлю себя на том, что воспроизвожу точную мамину интонацию: «Ох, знаете, в зиму 1942 года самым страшным было утро. Ночью спишь. А утром надо начинать жить. А как жить? Что есть? Чем топить? Что пить? Колонки в городе замерзли. Водопровод разрушен. Воду брали прямо из проруби в нашей речке Лопани. Ужас...»

Сейчас, когда я как бы заново проживаю те дни... Да, действительно, ужас. А тогда это была моя естественная жизнь. Довоенная – короткая и радостная – кончилась. И началась другая. К ней я скоро привыкла. Я и не думала, какая у меня жизнь – хорошая или плохая. Я знала и исполняла свои обязанности. Моя главная обязанность была – принести воды. А мама доставала топливо. Она шла в сад Шевченко, рубила сучья, ветки, сухие корни. Корней было много от вырванных при бомбежке деревьев. Корни горели хорошо. После взрывов мама ходила по развалинам в поисках «деревянного». Из разрушенных домов люди выносили все, что горит. Никому не нужными оставались на земле причудливые бронзовые люстры, мраморные головки, большие фарфоровые вазы... За полбуханки черного хлеба на базаре можно было выменять золотые часы. Такие вещи за бесценок отдавали люди, не сумевшие приспособиться к жестокому времени. Когда уже нечего было продавать, они тихо умирали в нетопленных квартирах.

У нас в доме, на втором этаже, жила старенькая женщина с дочкой или внучкой, не знаю. Девчушку немцы угнали в Германию. Ей было лет восемнадцать. (Я помню, что мама долгое время боялась выходить на улицу. Всех молодых женщин угоняли в Германию. Когда она выходила, то надвигала платок на лоб и лицо пачкала сажей.) Мама говорила, что часто видела старушку на базаре. Та продавала дорогие вещи. Старушка заболела и умерла, а пока ее хоронили, из квартиры успели вынести все ее вещи, даже книги – на растопку. Висела только люстра с бусиками, стоял железный остов кровати и в углу бронзовый человек держал факел.

Процветал тот, кто принял железную логику – или ты, или тебя. Эти люди будто вынырнули из-под земли. Одни работали у немцев. Другие открывали лавочки, кафе. А самые страшные стали полициями. Их боялись больше, чем немцев. Если полицейский кого-то невзлюбит... Все! Полицая достаточно намекнуть немцу, что ты связан с партизанами... И тогда – конец!

Люди боялись друг друга. Разговаривали шепотом, с оглядкой. О делах на фронте – единственном, что волновало всех, – боялись заикнуться.

Когда я спускалась с ведрами по нашему переулку на Клочковскую, уже издали видела огромную черную очередь за водой. Черной она казалась на белом снегу.

Уже в наше, мирное, время в Москве, по телевизору, я часто вижу репортажи о рыболовах. Все они сидят нелепо близко друг к другу. И у каждого своя личная лунка. А в 1942 году у нас в Харькове была одна на сотни людей. Я забываю, что рассуждаю так уже в то время, когда все здоровы, сыты и даже в метре друг от друга ставят рекорды по ловле рыбы! Как это все – и зима, и рекорды, и прорубь, и люди – не похоже на ту зиму, страшную, голодную зиму сорок второго! Люди еле-еле двигались, экономили силы. А лед в Лопани был такой толстый, зловещий. Его не пробьешь...

Стою в очереди закутанная с ног до головы. Торчит один нос.

Руки и ноги замерзают, едва только выходишь из дома. А еще идти до проруби. А еще стоять... А люди в очереди серые, мрачные. И ни одного слова. Прямо гробовое молчание. И дети сурово стоят. И тоже молчат. И так хочется с кем-нибудь поговорить! Чтобы не хотелось есть, чтобы не хотелось спать...

У каждого палка или кочерга – отталкивать трупы. Немцы зимой трупы сбрасывали в Лопань. Течением их сносило сюда.

Иногда они застревали около проруби. Воду обязательно кипятили. И попробуй забудь эту кочергу! Никто не даст. Все так смотрели на этого несчастного, как будто он – причина всех бед.

Сначала я всегда набирала два полных ведра. Это не те привычные эмалированные ведра конусом с прочной полукруглой и гладкой ручкой. Такими мы перед войной запастись не успели.

Под ведра приспособлялись большие железные банки, похожие на бидон, с отрезанным горлышком. А в пробитые по бокам дырки продевалась проволока, перевитая несколько раз. Она нещадно врезалась в заоченевшие ладони. Но воду я должна была принести домой. Так хотелось порадовать маму! Сделаю десять шагов и понимаю – не смогу, не донесу. Начинаю потихоньку отливать. Иду – отолью. Еще иду – еще отолью. Несу окоченевшими руками проклятые ведра, считаю шаги: «Папа на фронте, ему трудно... всем трудно... маме трудно... Я донесу, я должна донести! Немного, но донесу».

И вдруг: «Айн момент, киндер! Ком, ком, гер! Шнель, шнель!»

Немец отдает твою воду коню...

Домой идти? Выстоять еще раз очередь?.. Нет сил, ну нет же сил.

Вода нужна, и я поворачиваю назад, к проруби.



## Менка

Мама разложила на кровати папин габардиновый серый макинтош и свое темно-синее шевиотовое пальто с большим котиковым воротником.

Вот мама! Я думала, что она уже все продала. Сама ходит мерзнет, а пальто лежит. Ей всего жалко... Всегда она так.

– Ах, Вали, купили перед самой войной... Марк говорил: «Зимой будешь ходить в самом модном»...

## 8#8#8

Папа всегда заставлял примерять нас обновки. Он так любовался нами, особенно мною, своей дочуркой. В тот жаркий день даже в нашей подвальной комнатке было душно. Но мама «подчинилась» и надела новое зимнее пальто.

– Во, Лялюша! Тيبة твой любимый муж, Марк Гаврилович, сделав подарок от чистага сердца. Будишь ходить, як пава. Правда, ты етага не стоишь, ну ладно, хай вже так будить...

И чтобы у мамы не упало настроение, он тут же сам надел свой макинтош и фетровую шляпу.

– Лель, глянь! Я як прохвессор... ну, пока не загаварю...

Папе очень нравилось произносить: инженер, доктор, профессор.

– А? Я такога ще зроду не носив... Бувало, у диревни батька лапти сплететь, а мать новые штаны пошити да новые онучи... Та што там! Иду и света божжага не вижу! В усе лужи заглядаю! А шас в меня вже «макинтош». Э-э-эх! Лялюша! – И, сделав вдруг высокий прыжок, изогнувшись, приземлился на полусогнутые ноги, положил маме голову на грудь и повел ее по комнате, напевая танго «Я возвращаю вам портрет».

Это танго он в то время разучивал на баяне. Когда папа разучивал «новую вещь», мы с мамой сидели на кухне. Мы боялись попасться ему на глаза. Разучивать «новую вещь» было для него пыткой. Ноты папа читал плохо. Шевелил беспомощно ртом, вид у него был растерянный и жалкий. Я слушала и мучалась: «Ну что он так долго не может запомнить, тут ведь так просто». В часы работы над «новой вещью» он пересыпал каждую ноту такими «ласковыми» словами, какие мог придумать только мой папа. Таких больше не услышишь нигде. Иногда он на басах не менял гармоний, а четко отбивал ритм на одном месте. Но преклонялся перед талантливыми коллегами, восхищался ими.

Это было уже после войны. Папа и мама опять работали во Дворце пионеров. Дворец тогда находился на Сумской улице. (А сейчас в этом здании со львами у входа Дворец бракосочетания.) Массовика, баяниста и детей из самодеятельных кружков Дворца пионеров пригласили на Харьковское радио. Нужно было сделать запись под рубрикой «Разучивание на массовке во время праздника новой песни». Мама меня поставила перед самым микрофоном. Как только папа заиграл, а мы запели, режиссер передачи и звукорежиссер стали о чем-то шушукаться. Через десять минут пришел другой баянист. Выяснил у папы тональность. Играл чисто, профессионально. Я глубоко дышала, чтобы скрыть слезы. Щипало в носу. Мама смотрела на меня жалко и растерянно. А папа вместо того, чтобы тут же исчезнуть, сидел и восхищенно смотрел на баяниста. «Ну, брат... куда мне! Ты настоящий талант. Играешь прямо, як зверь! Быян у тебя слабоват... Можя, возьмешь мой? Мой лучий...»

У папы был лучший инструмент в городе. Баяно-аккордеон итальянских мастеров – братьев Грозио. «Фрателли Грозио», – с удовольствием читал папа на баяне незнакомые иностранные слова. Баян переливался белыми и красными камнями... На солнце и при ярком свете так горел, что собирал вокруг себя народ. «Я если не играю, так быанум беру, – и тут же демон-

стрировал четыре регистра, четыре звучания заграничного инструмента. – Хочишь – быян, а хочишь – аккордионум з розливом будить, воРйна, и флейта, и концерттина». К нам домой приходили делегации – посмотреть инструмент. Папа был счастлив!

Но разве тогда, на радиозаписи, в баяне было дело? Ну зачем, зачем он его предлагал баянисту? А тот еще играл на нем и хвалил баян... Почему, почему ты, папочка, сразу не ушел?

Я первая выскочила из радиокомитета, добежала до сада Шевченко... И там, в кустах, горько плакала. Как мне было больно и горько за своего папу! Но чем я могла ему помочь? Сказать: «Папа, здесь надо менять бас, здесь уже другая гармония. Нельзя, папочка милый, играть на двух парах басов. Папа, так уже сейчас играть нельзя...»

Но неизвестно, чем все это могло кончиться. Он мог и баян «об землю вдарить», и пустить в тебя «что под руку попало». Или мог заплакать: «Дочурочка, дорогенькая! Ета правда, быян – ета не мое дело... Мне бы земельку, садик. Не нада, дочурочка, над папусиком, не нада. Он тибя „на двух парах басов“ выкормив, вивчив, дав образование. А мы з Лелюю и так свой век доживем, на двух парах...»

– ...Леля! За пальто и этот роскошный макинтош на базаре тебе дадут копейки. Это же не люди! У тебя же доця! Новое дело! Чего ты боишься? Все ходят! Да, это риск! Да, сейчас вся наша жизнь – риск! Пойдешь, а доцю оставишь со мной... Рассчитаемся потом...

Речь шла о менке. Так назывались походы женщин в деревни для обмена вещей на хлеб, сало, муку.

У меня до войны были санки со спинкой, как стульчик. Мама взяла их с собой. Вот и саночки «дочурочкины» пригодились. Меня в них катала нянька Маруся. Папа всегда хвастал, что «мы до войны жили як буржуи... У Люси до садика была нянька». Маруся была из деревни. Прожила у нас недолго. Теперь я понимаю, что она просто влюбилась в папу. Ну и с ней пришлось расстаться... У мамы потом часто вырывалось: «А Маруся?» – «Э-э, кума, куда поехала. Што успомнила...» На этом моменте папа не любил долго останавливаться. Важно, что нянька была, а «што там и як – ета усе не важно. Корочий, жисть есть жисть».

Рано утром, когда я еще спала, мама с двумя женщинами из нашего дома ушла на менку.

– Доця! Вставай! Мамки нет. Будем жить с тобой вдвоем. Только Вали надо слушать. Ясно? Придумаем что-нибудь шикарное! Хо-хо! Доця!

## «Аллес нормалес»

Я все время наблюдала за тетей Вале́й. Чем же она живет? На грабилровку не ходит. На менку не ходит. Несколько раз я ее видела в коридоре. Она уже откуда-то возвращалась. В сером платке, в жалких старых фетровых ботах, совсем ненакрашенная. Может, заболела? У мамы спросить? «Не твое дело...» И никак нельзя ничего пронюхать. Прямо какая-то загадка, тайна...

Через некоторое время из ее комнаты доносился вальс Штрауса. Тетя Валя, переодевшись, на ходу расчесывала волосы, выходила на кухню и ставила на керосинку голубой чайник.

Вот же необыкновенная женщина! Минуту назад она была жалкая, стертая, а сейчас роскошная, неузнаваемая! На ней широкие расклешенные брюки ярко-синего цвета. Вали перешила их из японского атласного халата. По бокам, вдоль бедер, – два зеленых с желтым попу-гая на ветках. Шик!

– Как твои дела, Валь?

– О! У меня все «аллес нормалес»... Хо-хо!

О чем они с мамой так непонятно говорят? Ах...

И когда мы остались одни, тетя Валя под секретом посвятила меня в свое «дело». На базаре у деревенских теток она покупала нитки. Дома тетя Валя долго и терпеливо разматывала огромные и спутанные мотки. Потом аккуратно выстругивала из дерева палочки. И на эти палочки на специальной машинке наматывала нитки. Получалась катушка, но без дырки посередине, глухая. На базаре нитки раскупали в момент. Так вот чем занималась тетя Валя!

Когда я стала помогать ей распутывать слежавшиеся мотки, я убедилась, что у тети Вали не такой уж легкий хлеб. Я тогда была поражена ее терпением. А когда я сама несколько часов провела за этим скучным, нудным занятием, я стала более внимательно следить за тетей Вале́й. Нет-нет! Она совсем не такая избалованная, как я думала. А перед самым возвращением мамы с менки тетя Валя мне раскрыла самый важный секрет.

– А теперь главное, доця! Смотри и запоминай! На эту палочку мы незаметно наматываем тряпочку. Потом красиво прикрываем все это дело нитками... Что мы имеем, доця? Мы имеем то, что нам надо. Экономим нитки и увеличиваем количество катушек. «Аллес нормалес», доця! Тебе ясно, доця?

Ну что же тут неясного? Что за тетя Валя! Такое придумать! Ведь все так просто. А сколько прибыли. Это тебе не моя мама – правильно говорил папа: «Ничегинька не вмеить». А тетя Валя – талант, актриса!

С ней было так интересно! Я часами могла смотреть, как она расчесывает свои волосы. А когда у нее было хорошее настроение, как она сама говорила: «Сегодня, доця, у меня все „аллес нормалес“, что по-русски означает „жизнь прекрасна“, – это были самые яркие дни в зиму и начало весны 1942 года. Тогда мне даже разрешалось померить косу. Я ее оборачивала вокруг головы. Чубчик и коса... Я, счастливая, улыбалась своему отражению в зеркале. Мне даже не мешало отсутствие двух передних зубов. Я примеряла разноцветные боа. Я обмахивалась черным пушистым веером. Если тетя Валя выходила на кухню, я тут же пудрила свой нос ее огромной голубой пуховкой... Ну а если мне еще разрешалось полежать на кровати с ангелами на спинках... О! Я лежала, «як принцесса», и мечтала: когда вырасту, у меня будет кровать с ангелами, много перьев и боа, абажур с бантом, много разноцветных флакончиков, и еще очень, очень многого хотелось...

У тети Вали я научилась кроить «на глаз». Без выкроек. Тетя Валя положит перед собой «материю», чик-чик – и уже через пятнадцать минут идет примерка. А я тут наготове. Держу ножницы, мел, сантиметр. Готова предвосхитить и выполнить малейшее ее желание. Да, действительно, «аллес нормалес»! И мы обе в упоении мурлыкали «Большой вальс»...

## Пир

Ночью я услышала мамин голос. Она громко смеялась. Я встала и пошла к тете Вале. Мама отсутствовала больше двух недель. Они, пока ходили по деревням, спали где попало, одетые, нерасчесанные. У нее на голове образовался колтун, расчесать который нельзя было никакими силами, и тете Вале пришлось его выстричь.

– Санки иногда приходилось тащить по земле... Снег тает, – весело рассказывала мама. Она опять была счастлива, как на Первое мая!

Стоял уже март. Весна. Значит, не будет больше холодов!

Я бросилась к маме.

– Уже все знаю. Тетя Валя мне все рассказала. Ты хорошо себя вела. Я довольна. Я привезла тебе вкусного. Сейчас помою и будем кушать.

Ну никакой романтики! Все прозаично, деловито. Вот был бы на ее месте папа! Вот это был бы спектакль! Но папы нет...

На столе лежал большой круглый пшеничный хлеб, крутые яйца, мед. Пир!!! Мы сидели у тети Вали за столом. Мы смотрели на еду и боялись притронуться.

– Ешь, Люся, не бойся, это все наше, – сказала мама.

Мы ели медленно, чтобы запомнить этот день. Когда еще такое будет? Стола у нас не было. Мы его сожгли. Все важные события и праздники отмечались у тети Вали.

Мама рассказывала про менку. Она считала, что ей повезло. Правда, в деревню она еле дошла. Истерла в кровь ноги... И к ночи оказалась одна в лесу...

– Такой страх! Лес. Тишина. Стемнело мгновенно. Нам посоветовали идти поодиночке, чтобы не испугать хозяев. Все-таки, когда видят, что женщина одна, не так боятся впускать. Стою, Валя, в лесу со своими санками и думаю: ну хоть бы бомба упала! Потом прошла еще, вдруг слышу собачий лай. Как брошусь бежать! Как будто за мной гонятся. Откуда только силы взялись? И как в сказке, Валь! Хатка чистенькая, беленькая стоит, из трубы дым. Только бы пустили! Хозяева молодые, муж и жена... Пустили, обогрели. Я как заплачу! Истерика началась. Не могла поверить, что тепло, что рядом добрые люди, – все время ждала от них чего-то плохого. Знаешь, в деревне совсем другие люди, чем здесь, в городе. Держалась-держалась и не выдержала, Валь! Ела я яичницу с салом и все время думала, как бы Люсе спрятать. А потом соображаю: пропадет ведь... И опять ем, ем, ем. Они на меня все смотрели, смотрели. Спрашивали: есть ли дети? Я сказала, что есть дочка. «А у нас нэма дитэй! Нэ послав бог...» Жаль, говорю, а сама думаю: ну и слава богу, что не послал, знали бы вы, как дети в городе мрут. Да! Немцев они почти не видели. В те хаты, что стоят около леса, немцы не заходят, боятся партизан. Так что война их почти не коснулась. Расспрашивали... Ну я так, кое-что рассказала.

За папин макинтош и свое шевиотовое пальто мама привезла мешок муки, сало и бидончик меду.

Моя мама не любит вспоминать те страшные годы оккупации. А особенно грабильку, менку... У нее сразу портится настроение. Она становится мрачной, замкнутой. А мне так нужно узнать некоторые подробности. Я к ней и так, и сяк. Но не вытянешь ничего. Говорит, что немцы вошли в Харьков 24 октября 1941 года, а ушли навсегда 23 августа 1943 года. Так это же всем известно!

Тогда я ей сама начинаю рассказывать в надежде, что она меня поправит, подскажет! Я ей рассказываю про нее же, а она только хмуро бурчит в ответ односложно: «Ну? Ну? Ну так... Ну... Ну было... И это было. Точно так и было. Так. Да нет, я ждала, чтобы упала бомба, ждала – понимаешь? Это не объяснишь... Ну? Да, они на меня смотрели как на ненормальную. Я

одна съела две огромные сковороды с салом... Вали? Ох, Вали, Вали... Интересно, жива она еще? Она на пять лет старше меня. Ей сейчас шестьдесят семь. Вали тогда тоже подружала (подъела) подходяще. Ах, Люся... Зачем тебе все это ворошить? Как вспомнишь – жить не хочется. Жизнь – это сложная штука...»

## Говорит Москва

На Сумской улице немцы открыли кинотеатр. В театре имени Шевченко заработала оперетта. Дворец пионеров на площади Тевелева отремонтировали. Теперь это здание было «только для немцев». Значит, немцы в Харькове устраивались надолго.

Пришла весна. Мы открыли окна и балкон, он выходил во двор того здания, которое потом стало моей школой.

А сейчас в этом здании расположилась немецкая ремонтная часть. Во двор въезжали машины, разгружали ящики, металлические детали, гусеницы.

Всем женщинам нашего и соседнего домов было приказано утром собраться. Для чего – не сообщалось. Но за неподчинение приказу – расстрел. А вдруг опять будут угонять в Германию? Мы не спали всю ночь.

Утром я вместе с другими детьми бежала за строем наших мам. Они скрылись внутри здания. А мы спрятались за ящиками и подсматривали в окна. Там была и мама, и тетя Валя, и мать Зои Мартыненко. Других помню только в лицо.

Окно на первом этаже распахнулось. Из него высунулась улыбающаяся тетя Валя: «Доця! Ты где? Скорее сюда!» – «Люся! Не бойся!» – это уже мамин голос. Я подбежала к окну и схватила на лету серый узел: «Доця! Все половые тряпки из дома неси... скоро! Одна нога здесь, другая – там!»

В узле было два новых байковых халата. В таких ходили раненые в немецких госпиталях. Женщин собрали для того, чтобы они вымыли полы, вычистили здание. А тетя Валя сообразила, что халаты могут пригодиться. Полы можно помыть тряпками.

Свой халат она выгодно продала на базаре. А мне из халата пошили курточку на «молнии» и шаровары с большим запасом внизу – «на вырост».

Я мигом слетала на четвертый этаж, собрала все тряпки – и обратно. Окно было открыто. И, подбегая, я услышала немецкую песню. Ее пели по радио. Как давно я не слыхала радио! Да и было ли это когда?

Тихо влезла на ящик, всунулась в окно и наткнулась прямо на немца, который подпевал и дирижировал себе:

– О, киндер! Вас ист леус? Во ист мутер?

Мама произнесла сдавленным голосом:

– Пан, ист майн киндер... – В школе мама учила немецкий язык.

Он посмотрел на ворох тряпок у меня в руках и все понял. Взял у меня тряпки и бросил их маме, погрозив ей пальцем. Все время он улыбался.

Комната на первом этаже была самой большой в здании. Когда я уже училась, здесь был спортивный зал, потом столовая.

Тогда в этой комнате стояли спинки и сетки кроватей, ящики, чемоданы. Одна кровать была покрыта серым одеялом. Я подумала, что она принадлежит немцу. А музыка раздавалась из большого приемника, стоявшего на ящике рядом с кроватью.

Немца звали Карл. Он был денщиком у командира этой части. Наше знакомство состоялось в тот день, когда он не наказал маму. Первый раз я видела тогда «другого» немца. Немец, а хороший...

Я осмелела. Решила: мама и тетя Валя моют полы, немец слушает концерт и следит за их работой, а я пройду по двору – может, найду что-нибудь, что пригодится в доме...

Папа все нес в дом. И железки, и дощечки, и гвоздики – «усе у доми хай будить при всякий случай». У него было огромное количество пилок, молотков, напильников, рапилий.

Папа меня учил: «Як идешь по улице, смотри униз на землю. Мож, якая провылка или гвоздок попадеть – усе неси у дом, моя птичка. У хозяйстве згодится, усе нада иметь при всякий случай...»

В доме папа постоянно что-то пилил, строгал, тесал. И непременно в комнате или в том месте, где его заставляла идея что-то смастерить. И желание сделать квартиру уютной у мамы постепенно пропадало. Придет папа с новой идеей – и все сначала...

А я так и ходила по улицам, глядя вниз. Мои карманы вечно были набиты ржавыми гвоздями, винтиками, проволокой. Не было ни одной свалки, мимо которой я равнодушно могла бы пройти. Все развалины вокруг были мною тщательно обследованы.

В этом дворе не нашлось ничего такого, что могло бы пригодиться в хозяйстве.

Немецкая музыка уже кончилась. По радио говорил мужской голос – наверное, немецкие известия. Сажу под окном на ящике и жду своих. Потом «затрыкал» приемник – музыка, речь, хор, марш: немец что-то искал.

– Тсс... Ком, ком, рус панинка, Москау. Тсс, Москау... «Говорит Москва. От Советского информбюро...» – И на весь двор полилась из окон русская речь.

Я поднялась и заглянула в окно. Женщины стояли в углу, сбившись в кучу. «Левитан, Левитан, Фрося, держись, не плачь, а то он поймет...» – донеслось из-за угла. Левитан говорил что-то очень важное. Лица у женщин были посветлевшие, торжественные, в глазах стояли слезы.

«На фронтах... оставили город... несут потери...»

Немец улыбался. Он радовался, что преподнес «сюрприз» русским «панинкам». Он улыбался даже тогда, когда красивый голос произнес: «Победа будет за нами! Смерть фашистским захватчикам!»

После «Левитана» начался концерт Краснознаменного ансамбля. Немецкие офицеры шли по школьному коридору. А когда услышали нашу песню, засмеялись: «О, рус, Катюша... Катюша!» И пошли, чеканя шаг... А хор пел:

Бей, винтовка,  
Метко, ловко  
Без пощады по врагу!

## «Надо выделиться»

Я стояла на балконе и часами наблюдала за жизнью немецкой части. Утром они делали зарядку, бегали по кругу. Через год я поступила в школу. На уроках физподготовки я бегала по этому же кругу десять лет.

Потом всю часть выстраивали, читали приказы, распоряжения. Половина немцев уезжала до обеда. Возвращались грязные, в грязной спецодежде, опять выгружали из машин металлические части, детали. Ели они три раза в день из котелков, прямо во дворе. Там же стоял большой котел на колесах.

Вечером немцы пели, обнявшись и раскачиваясь из стороны в сторону. Они очень бурно и громко смеялись. Смешно им было все. Иначе откуда столько смеха? Тогда я впервые услышала звук губной гармошки, и не могла понять и разглядеть, что же издает такой неполноценный звук.

Вдруг один немец понес свой котелок куда-то в сторону. Куда? Я так свесилась с балкона, что чуть не свалилась... И увидела, как он выливает из своего котелка суп в кастрюльку подбежавшей к нему девочки. Я скатилась с четвертого этажа и понеслась туда, где только что видела девочку. Там стояла толпа детей с кастрюлями.

Проход на территорию части был закрыт железными трубами, но кто-то в одном месте их раздвинул. Через эту лазейку можно было проникнуть во двор, поближе к котлу на колесах. Можно поискать того «доброего» немца, который включил приемник...

Вечером я уже была в толпе детей. Для первого раза взяла самую маленькую кастрюльку.

Папа мне говорил с детства: «Ничего не бойся, дочурка. Не стесняйся. Дуй свое. Актриса должна „выделиться“. Хай усе молчать, ждуть, а ты „выделись“ ув обязательном порядке... Это, дочурочка, такая профессия, детка моя...»

Долго стоять молча, выпрашивать жалким взглядом? Нет. Надо заработать! Надо «выделиться». А как хочется есть! А какой запах! Я и сейчас его ощущаю. Густой фасолевый суп!

От ожидания чего-то неизвестного всю меня трясло. Я не знала, что сейчас сделаю. Но что-то сделаю. Это точно.

Немцы получили ужин. Стали есть. Смолкли разговоры. Только аппетитное чавканье...

Расцветали яблони и груши,  
Поплыли туманы над рекой,  
Выходила на берег Катюша,  
На высокий берег, на крутой!

Голос мой дрожал. Я давно не пела во все горло. А мне так необходимо было сейчас петь! Петь! Петь!

С разных концов двора раздались нестройные аплодисменты. И этого было достаточно... Ах так? Так нате вам еще! Только спокойно!

Ду грюнст нихт нур цур зоммерцайт,  
Нейн, аух им винтер, венн эс шнайт,  
О, таннэнбаум, о, таннэнбаум,  
Ви грюн зинд дайнэ блэттэр...

Несколько немцев подошли к железным трубам, чтобы посмотреть на русскую девочку, которая хоть и неправильно, но пела на их языке...



Домой я принесла полную, до краев, кастрюльку вкусного, жирного фасолевого супа! Ничего! Завтра возьму кастрюльку побольше!

Мы втроем съели этот суп. Я знала, что теперь я маму голодной не оставлю. Я тоже вышла на работу.

Вскоре при моем появлении немцы оживлялись и называли меня Лючия. Я тоже разобралась: кто злой, кто добрый, а кому лучше на глаза не попадаться. Заметила, что лучше общаться со старыми. Старые – это тридцать – тридцать пять лет. Молодых было заметно меньше. Может, потому, что это была ремонтная часть. Но молодые были очень злые. Некоторые из них проносили мимо детей котелок и демонстративно выливали суп в бак с мусором.

Того доброго Карла я нашла. Он жил в маленькой комнатке на первом этаже. Окно выходило на Рымарскую улицу, прямо на театр имени Шевченко. Я заглядывала к нему в окно. В комнате Карла стояла та же кровать, покрытая серым одеялом. Рядом тот же приемник и стол. На столе фотография его детей и жены.

– Их хабе драй киндер, Лючия, ферштейст?

– Конечно, понимаю. У тебя трое детей. Что ж тут непонятного?

– Вас? Троэ дэтэй? – И засмеялся оттого, что говорил по-русски...

– А чего ты смеешься? Ты думаешь, что по-нашему смешней, чем ваше «их хабе»?

Незаметно мы учили друг друга говорить. Карл меня – по-немецки, а я его – по-русски. Я его совсем не боялась. Наоборот, он сам боялся, как бы я на него не рассердилась за что-нибудь. Он ни разу у меня не спросил, где мой отец, чтобы не ставить меня в неловкое положение.

У меня была привычка грызть ногти. Ножницы наши затупились и ногтей «не брали». Да я и так уж привыкла к тому, что ножницы, как и детское белье – носочки, чулочки, резиночки, – естественно ушли из нашей жизни.

Карл острыми, блестящими, кривыми ножницами обрезал мне ногти, а я трясла в воздухе руками и смеялась. Было так непривычно. Руки казались такими легкими... Потом он подарил мне еще эти ножницы. Они служили нам очень долго.

Каждый вечер тогда немцы пели песню «Лили Марлен». Она была и самой новой, и самой «модной» – «шлягером». Надо обязательно выучить! Мотив я схватила быстро – он простой. А слова? Я вслушивалась в незнакомые слова, старалась запомнить их. Карл все понял и помог мне. «Лючия! Ферштейн! Их ферштейн! Вас волен зи?! „Лили Марлен“? Гуд! Яволь!»

И однажды вечером Карл объявил, что Лючия споет «Лили Марлен». Все одобрительно закивали: «Дас ист гуд...»

Я откашлялась и запела:

Фор дем казарме  
Фор де гроссен тор  
Штейн анле латерне  
Унд штайн зе нохуе фор  
Алле лойте золен зейн  
Ви штийндт айнле латерне штейн  
Ви айне Лили Марлен (2 раза).

После освобождения Харькова эту песню уже пели на русском языке. Хоть потом я узнала, о чем пела. В переводе «Лили Марлен» звучит так:

У одной казармы, у больших ворот  
Мы стояли вместе, освещая вход.  
И при этом фонаре стояли мы  
С тобой вдвоем, с тобой, Лили Марлен (2 раза).

Реакция была самая бурная... Даже «браво». У меня была не только полная кастрюля, налитая прямо из общего котла. Я принесла домой шоколад – коричневые кусочки неправильной формы, как пиленный сахар. А Карл мне вынес целую пачку сахара! Тетя Валя с моей мамочкой только недавно о нем мечтали. А я его вот уже в «ручках» держу! Вот так-то, дорогие мои!

Проходя мимо детей, которые выжидательно смотрели, я подумала, что надо действовать, милые, а не ждать у моря погоды. Надо уметь действовать, уметь «выделиться»... А вообще-то за талант платят больше. А я талант. Мне так папа сказал. А папа все знает. Он ведь мой папа.

## Девушка моей мечты

Летом 1942 года был такой период, когда я стала основным кормильцем. Я гордилась, что слова «Люся принесет обед» воспринимались как нечто само собой разумеющееся. Лето, зелень, солнце, фрукты, базар. И уже совсем другое настроение. Были бомбежки, но реже. К ним привыкли. О смерти не говорили. О зиме вспоминать не хотелось.

В Театре оперетты мы не были. Но однажды ходили в кино. Фильмы шли на немецком языке. Немцы гражданский кинотеатр не посещали. Они не появлялись в тех местах, где собиралось много людей, – боялись партизан.

Мы купили самые дешевые билеты. Это я очень хорошо запомнила. Тетя Валя сказала: «Уж если пошли, то надо сидеть как люди, а не на первом ряду». А мама сказала, что люди сидят и «на первом ряду», и если бы она знала, что билеты такие дорогие, ни за что бы не пошла!

Мы сидели в первом ряду справа от середины экрана. На нас все смотрели. Точнее, смотрели не на нас, а на тетю Валию. Сзади волосы у нее были подвернуты в большой валик. А впереди, открывая красивый лоб, возвышался огромный кок. Такую прическу тогда носили все женщины, даже моя мама. Но как всем им далеко до тети Вали! На ней было крепдешинное платье – голубое, с розовыми цветочками, с высокими плечами. На груди огромный бант – розовый, без цветочков, прикрепленный с двух сторон к платью. На ногах знаменитые «ковровые туфельки». Я расстроилась за тетю Валию. Такая дама. И в первом ряду. А лично мне было очень приятно сидеть «на первом ряду»: экран рукой подать, никто не мешает. А звучит как? Первый ряд! А не какой-нибудь там последний, задворки. Но тетя Валя умела мгновенно перестраиваться. Пока я за нее переживала, она уже весело острела и шутила с мамой. Тетя Валя чувствовала себя королевой. Довольная сидела в первом ряду, как будто так и надо. «Доця! Улыбнись! Аллес нормалес!» Теперь она уже меня утешает.

О фильме в городе говорили: красота, любовь, танцуют, поют, войны нет, еды у них полно – такая жизнь – закачаешься!

И вдруг вместо фильма показали немецкую кинохронику. В первый раз я увидела Гитлера. Он дергался, неистово кричал, угрожал, выбрасывал руку вперед. За ним – тьма рук: «Хайль!» Гитлер с челкой, с усами.

Пока я сидела, погруженная в «политику», на экране без перерыва началась картина «Девушка моей мечты». И хроника и картина шли без перевода. Понимай, как хочешь, сочиняй любую историю. Даже интересно.

Мы возвращались домой. Мама сразу же заговорила с тетей Валей про менку, про базар, про сахарин. Как же так? Мы впервые были в кино, слушали музыку, видели актрису, которая пела, прекрасно танцевала... А они опять про свое... Это все мама – ничего ей не интересно.

Ночью мне никто не мешал. Моя душа разрывалась от звуков музыки, новых странных гармоний. Это для меня ново, совсем незнакомо... Но я пойму, я постигну, я одолею! Скорее бы кончилась война. Скорее бы вернулся папа. Скорее бы услышать: «Не, Лель! Дочурка актрисую будить, ув обязательном порядке! Моя дочурочка прогремить!»

Наутро у тети Вали была прическа, как у Марики Рёкк. Впереди маленькие колечки, а сзади плыли волны волос по плечам.

Наутро я встала с твердым решением: когда вырасту – обязательно буду сниматься в кино.

## Шаушпиллер

Я выучила песню из того фильма: нашла внутри двора дверь, из которой нас выпускали после сеанса, села на ступеньки. И совсем рядом из динамиков полилась музыка.

У меня даже выработался собственный сюжет оригинального фильма. В нем играли тетя Валя в причёске Марики Рёкк, мама, папа и я. Когда совсем уж не обойтись, появлялась сама звезда – Марика Рёкк!

К этому способу выучивать музыку из нового фильма я прибегала потом всегда, когда не было денег на кино.

У Карла был теперь новый шеф. Настоящий зверь. Он ходил в золотом пенсне, со стеклом в руке, точно таким же, который впился мне тогда в подбородок. Стекло я рассмотрела совсем близко. Красивая коричневая с горбиками блестящая плетка, сужающаяся к концу и похожая на змеиный хвост.

Детям запретили не только входить на территорию части, но и стоять около железных труб. Карл меня предупредил, что новый шеф «нихт гуд», «Лючия нихт зинген». А я не повредила, пока не попала. Шеф тихонько подкрался сзади с несколькими солдатами, а потом как закричит – и своим стеклом налево, направо. Мне досталось по плечу, сильно, даже кастрюля вывалилась из рук.

Теперь мы знали: если на территории тихо – значит, шеф на месте. Если смех и губная гармошка – значит, можно рискнуть и приблизиться.

Я исполнила песню из кинофильма «Девушка моей мечты». Назло всем! Назло шефу, который ее никогда не услышит... Назло боли в плече! Назло врагам! Я спела ее по-новому! Дома продумала движения, напоминающие танец Марики Рёкк, и разложила их на каждую строчку текста песни. А в конце, чтобы добить, должна быть папина «чечеточка» и мое «х-х-ха!».

Слова от прослушиваний сами собой заучились. Значение слов «нахт», «менш» и «аляйн» – знаю. Значит, о чем поется? Что ночью люди одни. А «либен» – это очень похоже на русское «любовь». Так что если хорошо пошевелить мозгами, то в песне все очень просто:

Ин дер нахт  
Ист дер менш нихт герн аляйне  
Ден дас шейнсте ист ди либе им монд шайне,  
Я зи виссен, я зи виссен вас их майне,  
Айнерзайц унд андерзайц  
Унд аусердем...  
Х-х-ха!



Я ожидала, что будет переполох, будут кричать ободряющее «браво». Я все нафантазировала...

Все грустно улыбались, вежливо аплодировали и говорили: «Лючия шаушпиллер». Надо будет это слово запомнить. Какие они с новым шефом притихшие стали... Я еще не знала тогда, что фронт приближается и наши войска скоро возьмут Харьков. И Карла нет: сопровождает своего начальника. Если бы Карл слышал, он бы вынес что-нибудь поесть.

Я не знала имени немца, который всегда сидел в стороне один, на все грустно смотрел и ни разу не улыбнулся... Почему? Ведь когда я пела «Му!», смеялись все. «Му!» была самой последней песней, которую я запомнила перед войной. На пластинке ее пели Леонид Утесов со своей дочерью Эдит:

Что-то я тебя, корова, Толком не пойму.

(Корова отвечает: «Му!»)

Все туманно, все так грустно  
Сердцу и уму.  
«Му!»  
Наклонись же ближе к уху,  
Утешай меня, Пеструха,  
Очень трудно без участия  
Сердцу моему.

Это я пела низким голосом, как Утесов. А дальше вступает высоким голосом Эдит. Корové «Му!» и резкие смены мужского и женского голосов всех веселили. Этот немец не реагировал никогда.

И вдруг после моего танца из фильма и «чечеточки» в конце он направился прямо ко мне. Я аж съежилась. А вдруг ударит? Кто его знает, чем он дышит? Он подошел, провел рукой по моей стриженной голове. Я еще больше втянула голову в плечи... «Айн момент» – и пошел в здание.

Он вынес что-то завернутое в голубую красивую бумагу, явно несъестное. Тогда что? Я развернула... Ах! Два портрета Марики Рёкк! На обратной стороне ноты ее песен.

– Мам, что такое шаушпиллер?

– Не знаю.

– Ты же учила немецкий.

– Этого слова я не знаю. Шпиллен... вообще – играть.

– На чем играть?

– Отстань... откуда я знаю...

– А как ты думаешь, сколько лет Марике Рёкк?

– Не знаю.

– Ну, а как ты думаешь?

– Вечно ты со своими глупостями. Точно Марк... По-моему, она моя ровесница. Почему я о ней должна думать? На черта она мне нужна, эта немка?

Ага. Стоп. Маме сейчас двадцать пять лет. А мне в ноябре 1942 года будет семь.

– Мам, двадцать пять минус семь будет восемнадцать?

– Да.

Долго. Очень долго еще ждать.

В 1957 году вышел на экраны фильм «Карнавальная ночь». В нем я сыграла свою первую большую роль в кино. В фильме я пою и танцую. В этом же году у меня была первая поездка за границу. Я была в делегации московских комсомольцев, поехавших в ГДР по приглашению молодежи Большого Берлина.

И надо же, чтоб так совпало: первая поездка – и в Германию... При слове «немец» у меня внутри навсегда засело чувство страха.

Мы жили в гостинице «Адлон» около Бранденбургских ворот. Нам сказали, что в ней останавливался Гитлер. Гитлер, немецкая отрывистая речь – как это далеко... И все равно я боялась, что все это будет действовать угнетающе...

...Эти немцы мне незнакомы, хотя и речь та же. Ведь все они в штатском... Нет, вроде не страшно, по-моему, я их не боюсь.

На пресс-конференции рядом со своей фамилией я вдруг услышала слово «шаушпиллер». Чуть не вскрикнула. С нетерпением дождалась конца пресс-конференции и спросила у переводчика, стараясь быть спокойной: «Простите, что такое „шаушпиллер“?» Она ответила: «„Шаушпиллер“ по-немецки – это ваша профессия – актриса».

А-а? «Шаушпиллер» – актриса...

## Клад

Осенью мама опять пошла на менку. Надо делать запасы к зиме. Она понесла мыло. Кто-то в Харькове варил мыло. Чего только про это мыло не говорили... И что его варят из кошек и собак, и такое, что страшно сказать! Будто, когда стемнеет, какие-то люди ловили детей и из них варили холодец и мыло. Правда или нет – никто не знает. Но детей на улицу вечером не выпускали. Это мыло было совсем черного цвета и имело отвратительный запах. Во время мытья я видела страшные картины... Мне жалко было маленьких детей. Я сидела в корыте и с нетерпением ждала, когда же мама перестанет меня нещадно скрести.

Ремонтная часть эвакуировалась. Во дворе сначала валялись деревянные ящики, потом их расхватали на топливо. Долго еще ржавели металлические моторы, гусеницы от танков. Когда я после освобождения училась в школе, у нас проводилась кампания по сбору металлолома, и однажды наш класс в один из воскресников вышел на первое место по району.

Теперь в здании школы был немецкий госпиталь. Проход на территорию заколотили досками. Во дворе гуляли легкораненые. Те, у кого в гипсе рука, нога. Некоторых вывозили на воздух прямо в кроватях на колесиках.

У меня было много свободного времени и никаких занятий. Где только меня не носило целыми днями! Я знала все выходы и входы во дворах, домах, развалинах. Мои глаза постоянно были устремлены вниз. Каждый день я была уверена, что именно сегодня найду кошелек или деньги, случайно выпавшие у кого-то из кармана. Меня преследовала мечта найти клад.

Папа всю жизнь повторял маме, что у него счастливая «планида», что он «найдет клад ув обязательном порядке!». А мама, как всегда, ехидно хихикала. Но однажды мы с мамой собственными глазами увидели, как папа действительно нашел клад! Прямо как в сказке!

Это случилось после войны, когда я училась в пятом классе. Мы жили в нашей последней харьковской квартире. Во дворе было много семей. Ближайшими соседями, с которыми мы тесно общались, были Соня, Роза, Галина Сергеевна, Шолом и Кляча. Это прозвище дядя Моисей получил от папы. Он ходил, вытянув перед собой, чтобы все видели, руки, согнутые кистями внутрь. Иметь ранение тогда было почетно. Находились такие, кто гиперболизировал свои ранения или притворялся. Кляча на фронте не был.

– Моська! Другое придумай. Увесь фронт прошов, такого ранения нима, такого не видел! Ну, давай, давай, разогни руку.

Смелей! Не бойсь. А то ты на самом деле ходишь, як кляча... – И папа добродушно смеялся, глядя, как Моисей, бубня под нос, быстро скрывался в свой полуподвал.

Я потом расскажу, как мы попали в эту квартиру. Она будет называться «улица Ключковская, 38, кв. 3». «Двор» на Ключковской – как одна семья. Все слышно, все видно в обоих двухэтажных домиках, стоящих друг против друга. Известно все: кто к кому приходит, кто у кого остался ночевать и под утро, крадучись, выбирался из двора. Назавтра об этом говорили вслух. Окна у всех открыты! Весь двор завешан бельем, дорожками, которые выбивали вениками. Пыль столбом!

Главное место сборищ – общественный туалет во дворе, чуть в стороне от домов. Утром очередь, вечером очередь. «Ну что там можно так долго делать, Кляча? Что ты молчишь? Я тебя спрашиваю!» – кричала на весь двор родная сестра Клячи, тетя Соня. Она жила напротив нашей квартиры вместе с мужем и Клячей. Над ней, на втором этаже, жили самые «богатые» во дворе – Виноградские. Отец и мать с утра уходили на базар. У Виноградских было двое мальчиков – Генка двенадцати лет и Ленька – восьми. И вдруг Леньке купили часы! В то время восьмилетний ребенок с часами?! Я даже не знаю, с чем это сравнить сегодня. Может, как иметь личный самолет... И то не было бы такого ажиотажа, какой был тогда в нашем дворе,



когда Ленка вышел с большими круглыми часами и сел на «Сонину» скамейку. Этого «бедная» Соня не могла простить «богатым» Виноградским. Братя постоянно изводили Соню: то сбрасывали со второго этажа ей под окна мусор, то швыряли огрызки и косточки. А один раз был такой скандал! Они вылили в ее палисадник все из ночного горшка! Бедная Соня! Она, задыхаясь, на весь двор кричала такое, что наш веселый двор заливался от смеха. «Вы! Свинья. Вы – кусок Гитлер!! Где ты есть? Ленка! Выйди, я на тебя буду смотреть! А! стыдно! Пойди, ну ты пойди, ты пойди уже одень часы!» Главную обиду – насчет часов – Соня высказала.

Мы жили напротив Сони, в полуподвальной двухкомнатной квартире. У нас была своя кухня и коридор. Из коридора налево – вход в жилые комнаты, а направо – вход в маленькую темную комнатку, метр шириной и два длиной. Папа обнаружил, что в ней есть трубы. Это оказался слив. И скоро папа соорудил в этой комнатке... уборную. Вот так! У него, единственного во дворе, есть свой «личный» туалет!

– Ну что, Лялюша? Не будешь теперь у в очереди з Сонькою и з Розкою стоять? А!! А ты говоришь, Марк – идиот!.. Марк – настыящий хызяин, а за хорощим мужум и чулинда жена. Теперь мы, як буржуи, я теперь кум королю, Терещенки сват!

Но на «туалете» папа не остановился.

– Лель! Ты знаешь, кола труб земля з одной стороны податливая... а з другой – хоть ломом бей. Там што-та есь. Буду копать дальший...

Папа открыл, что эти трубы ведут в помещение, похожее на подвал. С другой стороны дома была лестница, ведущая на второй этаж, так этот подвал находился как раз под ней. В него можно было попасть из «туалета» по прорытому ходу только согнувшись. Там было холодно и сыро. «Хорошо, здесь погреб будить. Будем на зиму усе солить... Не, Лель, тут хто-та побывав... Якая земля мякинкая. Ета неспроста... Буду ще копать...»

Он копал каждый день. Мы боялись смотреть на него, чтобы не засмеяться «под горячую руку». Не знали, что отвечать людям, которые приходили к нему. Не скажешь ведь: «Марк Гаврилович вас принять не может. Он как раз сейчас ищет клад».

И вдруг мы с мамой услышали откуда-то издадека чужой хриплый голос, срывающийся «на петуха». Мы испуганно смотрели друг на друга. Что случилось? Было такое ощущение, что папа попал в тридевятое царство и ему навстречу вышло чудовище.

– Я же гаварив! Я ж гаварив! Ах ты ж... твою душу, в триста богов... тыща твою матку вовков зъешь! Леля! Дочурка! Што я гаварив? Зови усеx, хай знают Марка Гавриловича!

Папа вылез взъерошенный, весь в грязи, сияющий. В руках бережно нес голубую кастрюльку, обмотанную проволокой. В ней лежал тряпичный сверток, пахло прелым. Папа развернул тряпку... Мы увидели пачки денег – керенки. Они рассыпались на наших глазах...

– Лель, як же ета?

– Марк, ты подумай, сколько они в сырости пролежали. В общем, это понятно. Это купеческий район. Кто-нибудь до лучших времен припрятал. Интересно...

На дне кастрюльки находился красный мешочек с серебряными монетами. Были даже с дырочкой посередине. Но в то время они не имели никакой цены. Папа их раздал во дворе и «дочурке играть».

– Да-а, золота нима... Но будить... Ув обязательном порядке будить. Я ще найду. У меня щасливая планида!

Мама с тех пор уже не хихикала. «Знаете, Марк все-таки очень странный человек... Говорил, что найдет клад, – это в наше-то время! И представьте себе – нашел! Что за человек...» То-то, мамочка!

Папины гены передались и мне. И я мечтала о кладе осенью 1942 года. Но клада я не нашла. Я подружилась с мальчиком Валериком – Вилли. Кто-то переименовал его имя на немецкий манер. Он окликнул меня около разрушенного дома на Рымарской. Мы оба были стри-

жены наголо, только у меня – чубчик. Он был на два года старше меня, весь в веснушках, и имя Вилли ему подходило так же, как если бы меня назвали Гертрудой.

– Слушай, ты, как тебя?

– А что?

– Хочешь заработать?

– Ну?

– Нужно постоять на шухере.

– А что это?

– Держите меня! Не знает! Постоишь, а если кто идет, свистнешь... Ну?

– Я пою. Свистеть не умею.

– Учись...

Вот жизнь! Только что ведь ничегошеньки не было! И вдруг такое дело! Интересно!

– А куда идти?

– На базуху.

– А что это?

– Ха! Базар!

– А-а! Только не вечером.

– Даешь дрефака! Нет. Утром. Да с нами не бойсь.

– А еще кто?

– Завтра... Мой братан главный. Его Мордой зовут. А вообще-то он Толик...

## Базар

Из деревни на базар привезли дыни – желтые, пахнущие так, что одуреешь.

Мне нужно было отвлечь на себя внимание двух теток. А за спиной у них потихоньку будут уплывать дыни. Народу много.

Тут свистеть надо не переставая. Почему именно у этих теток? Дыни ведь есть не только у них.

Позже я узнала все тонкости. Ребята изучили базар как свои пять пальцев. Они знали всех. И их знали все. Торговки их замечали издали и были на стреме. А эти тетки – из деревни, «перваки». Вот таких и подлавливали.

Было так жарко, что от голода и жары в животе все слиплось, а голова шла кругом. Тетки в белых платках, разморенные и раскрасневшиеся, отсели в тень и стали есть... черный хлеб с салом!

С чего начать? Что делать? Главный – Морда – делает знаки: придумай, разверни их в другую сторону. Какие дыни, когда здесь хлеб с салом! Петь не петь... говорить? А что говорить? Смотрю на теток проникновенно и жалостливо. Кончилось тем, что я их развернула, как хотела. Я им рассказала, что я круглая сирота. Папа на фронте, жив ли он – неизвестно. Мама недавно умерла с голоду. И сама я в это абсолютно верила. Слезы лились у меня по лицу. Сказала, что вот уже два дня ничего не ела. «О-ой такэ малэ, такэ худэ дытя... Бисова вийна... воно вже сырота». Отрезали мне кусок хлеба, кусок сала. Я их вежливо поблагодарила и быстро пошла, на ходу даваясь, чтобы новые друзья не отобрали.

Штабом были развалины бывшего крытого рынка. Здесь собрались все: Морда, Вилли, Сенчик (Сеня) – других не запомнила – и я. Меня поздравили с «боевым крещением», сказали, что я молодец. У нас было девять дынь. По одной на брата и три на продажу! Сало, дыни, нестерпимая жара... Мне было так плохо, что даже запах дыни стал непереносимым на всю жизнь.

В мае 1979 года наша картина «Сибириада» была на Каннском фестивале. Когда я вошла к себе в номер отеля «Карлтон», на моем столе стояла изящная белая корзина с фруктами. В середине – бежевый ананас, а вокруг – и розовобокие персики, и бледно-желтые яблоки, и фиолетовые сливы, и черешни, прозрачные до косточек, и огромная клубника на золотом бумажном блюдецке. И еще два зеленых мячика – как теннисные, только поплотнее и побольше. Я все попробовала, а эти мячики были мне незнакомы. Попробовать их я не решилась. На званом обеде – смотрю – в самом начале подают эти зеленые мячики. Подмывает спросить, что это, но жду... Сосед слева – директор Каннского фестиваля. Раньше он был крупным оперным импресарио. Несколько раз приглашал в Париж нашу оперную труппу Большого театра. Он нам гордо об этом сообщил. За столом, до обеда, мы с ним вдвоем с успехом исполнили арию Ленского «Я люблю вас, Ольга». Так что, когда подали зеленые мячики, у меня с этим холемым и ухоженным старичком, можно сказать, завязались приятельские отношения. Смотрю, он надрезает верхушку этого плода и ложкой начинает вычерпывать его изнутри! Ой! Так это же дыня! Самая обыкновенная дыня-карлица. Он с таким удовольствием ел свой мячик, с таким аппетитом, что у меня даже был порыв подкинуть ему еще и свой. Но я взяла себя в руки. Ведь мы, к сожалению, не дома.

«Мадам Гурченко! Почему вы не едите дыню? Это же „манифик“! Такой дорогой деликатес!»

А зимой мы стащили целый бак самодельного мороженого. Его продавала тетка Поля, грубая, толстая, с красным лицом. От мороза оно иногда было даже синим.

От места, где стояла с мороженым Поля, уже издалека шел запах ванилина. Она проворно вкладывала в железную формочку круглую вафельку на дно. Потом заполняла мороженым и сверху накрывала опять вафелькой. Снизу этой формочки – железная трубочка, внутри которой «ходил» железный карандашик. Он-то и выталкивал кругленькое, обложенное вафлями, ароматное мороженое.

Деньги она прятала в сумку, которая висела у нее прямо на груди. Сколько денег! Так хотелось купить мороженого и... леденцов. Леденцы, маленькие-маленькие – по рублю штука. На немецкую марку – десять штук. А петушок на палочке малинового цвета!

Поля была тетка тертая, знающая все хитрости. Ее не проведешь. Целый день она продавала мороженое, брала деньги, отсчитывала сдачу... И все стоя на одной ноге. Вторая нога беспрерывно шарила по земле и нащупывала запасной бак с мороженым. «Вот здоровая баба! – цедил сквозь зубы Толик-Морда. – И ноги не мерзнут. Ну, не шелохнется, зараза!» Мы целый день так внимательно смотрели на ее ноги, что ночью, как закроешь глаза, так и видишь сразу Полины ноги, обутые в бурки и в чуни. Бурки – это самодельные валенки, простроченные по типу ватника. А чуни – галоши, сделанные из автомобильных шин, только глубокие, до щиколоток.

Передышка у Поли была только тогда, когда приходил ее муж с очередным запасным баком. Он был такой же отвратительный, только очень маленький и худой, со злыми глазами-щелками.

И все-таки мы подловили момент! Был мороз. Но вокруг мороженого толпа, как летом. Очередей на базаре не было – были толпы. Все орут, толкаются, теснят друг друга. Мы с Вилли орем громче всех: «Куда ты прешься? Стой, как все! А чем ты лучше? Тоже мне „пан“! Да заткнись ты! Что? Что ты сказал? А ну, повтори...»

– Э-э-э!! Смотрите, смотрите! Пацаны мороженое сперли! Вон бегут! Хватайте их!!

Поздно. Мы опять сидели в нашем штабе. Ели прямо руками из бака долгожданное Полино мороженое. Вначале было необыкновенно вкусно. Потом приторно. Потом очень плохо – всем шестерым. Мороженое было на сахарине. Чего только, наверное, Поля в него не пихала... Съешь порцию – не почувствуешь. Но шестерым съесть целый бак на морозе, да на голодный желудок...

После войны я мороженое уже не ела. Подержу, посмотрю, понюхаю – и все.

А вот петушки люблю! Как увижу в городе малиновые петушки на палочке – покупаю. Говорю, что покупаю дочке, а сама только за угол – и тут же откусываю его не спеша, чтобы растянуть удовольствие. И в голову не приходит, что можно купить сразу десять штук. Нет, берешь одного! Как несбыточную мечту, которая вдруг сбылась. Так много радостей было убито в военные годы...

Залпы, обстрелы, бомбежки оживают в памяти...

Мне жаль маму. Жаль, что ее лучшие молодые годы прошли так. А ей жаль, что мое детство – самая веселая и беззаботная пора – прошло так. Но в то время мы часто смеялись, редко плакали, а если плакали – то горько. Мне, вообще, казалось, что я очень хорошо живу, что так и должно быть. Самую маленькую радость я воспринимала как огромное счастливое событие. Когда подросла, тогда начала кое-что понимать, сравнивать...

Знакомство с ребятами было и опасным, и романтичным. Многому меня научило. И хорошему, и плохому. Я знала, что «ракло» лучше, чем «сявка». «Сявка» – это опустившийся, безвольный человек, ничто. А «ракло» – это вор действующий, соображающий. Я научилась воровать. Для этого пользовалась все тем же способом «отвлечения». Рассматриваю себе на прилавке штучный товар прямо перед носом у торговки... Перегнувшись через стол, перебираю правой рукой товар, стоя на цыпочках. Товар ругаю или хвалю, а левой рукой незаметно первое попавшееся тихо опускаю вниз под прилавок. Смотришь – яблоко или помидор есть.

На базаре дорого стоили кремни для зажигалок. За один камешек можно было купить гору леденцов. Подойду к прилавку, послунявлю указательный палец и как бы случайно уроню его на разложенные камешки... «Нет, моему папе эти слишком большие» – и отхожу. А на палец два-три камешка и прилипло.

Осенью мама возвратилась после менки. За «то» мыло она привезла мешок фасоли. «Сейчас куплю луку... сварю фасолевый суп... соль у нас еще есть», – сама себе приговаривала мама, перебирая у торговков лук.

– Мама! Пойдем со мной...

Мы отошли... Мама смотрит на меня с тревогой: мол, что случилось, с чего это вдруг «пойдем»? Я ей протянула большую головку синего лука.

– Боже мой, какой ужас! Где ты его взяла?

– А ты его дольше всех в руке держала... А пока ты с теткой говорила...

Мама – хрясть по щеке. Я даже не успела договорить.

Она быстро пошла вперед.

– Какой ужас! Если бы Марк это узнал! Он же никогда и крошки чужой не возьмет. Откуда это у тебя?

Откуда, откуда... Сама уйдет на свою менку – и жди ее. Что оставит, съедается быстро, а потом что? Да что я, одна? Все дети так. Все! Ничего больше не буду ей рассказывать. Я думала, она обрадуется... Вот человек! А папочка такой добрый, он бы меня пожалел, заплакал бы вместе со мной...

Дома мама отошла. Она нудным тоном вычитала мне, какой должна быть девочка, как некрасиво я поступила, в общем – ничего нового. А потом взяла с меня слово, чтобы «это было в первый и в последний раз». Я дала честное слово. Но это было только начало. Я воровала до двенадцати лет. В школе – ручки, перья, тетради. В гостях – сахар, конфеты, печенье. Все копила на «черный» день. В укромном месте я прятала свои запасы. Старые съедала, а новыми пополняла. А потом в одно прекрасное утро все кончилось. Желание воровать исчезло навсегда. Даже как-то скучно стало...

Я всегда долго «созреваю». А потом вдруг – раз! – и полная ясность. Точное решение проблемы. Так и в работе над ролью. Сначала тупик и полная паника. Внутри сам собой происходит процесс «созревания». Я думаю в это время совсем о другом.

И вдруг неожиданный просвет! Ага! Есть! Знаю, какая «она»! Знаю, как я ее поведу...

Так и в дружбе. Со мной много можно «экспериментировать» – подводить, обманывать, крутить, вертеть. Я все терплю, терплю, жду, надеюсь, надеюсь... А потом – раз! И все! Внутри все пусто, все сгорело. И нет больше такой подруги.

А особенно болезненно было в любви. Уж тут-то я почти всегда оставалась сидеть в пепле на развалинах. Всегда сильно мучилась, отдавая этому чувству невосполнимые силы. Максимально «приносила», но и максимально требовала. Выдержать меня, мой «максимализм» трудно, что там говорить... Мне всегда хотелось любить только одного человека.

Теперь жалко огромного заряда энергии, растраченного впустую. Но мой папа говорил: «Жисть есть жисть, моя детка». Все правильно. Я это постигла на своем опыте, не внимая ничьим советам, какими бы они мудрыми ни были.

## Без «дела»

На базар меня мама больше не пускала. А внизу, как назло, свистели мне мои друзья. Я предлагала маме свои услуги, вела себя так образцово, что это требовало какой-нибудь награды. Но мама хитрая. Она делала вид, что ничего не замечает.

А уж если удавалось вырваться! Ух! Я летела на базар, в условных местах находила ребят... и – будь что будет! Не убьет ведь, правда! – гуляла до вечера. Мы купались в Лопани, строили планы – на кого бы «наострить лыжи»!

А дома – экзекуция! Но что меня особенно поражало – мама безошибочно узнавала, что мы купались в Лопани. Курточка сухая, шаровары сухие, голова и трусы сухие, а она знает, что я купалась.

– Я тебе запретила влезать в эту грязную воду.

– Мамочка, дорогая, честное слово! Я не купалась, – говорила я, глядя на нее честными глазами.

– А это за вранье! – следовал очередной удар. А потом стояние на коленях в углу. Лицом к стене. Там у меня было время все спокойно обдумывать, поразмыслить.

«Вот придет папа, я ему все расскажу. Как он точно про нее говорил – яга! Ну как она пронюхала, что я купалась?? Ну точно... чистая НКВД»...

А тут и нюхать было нечего. От меня за версту несло болотом. И опять надо меня мыть. И опять – вода, керосин, мыло...

Мама выпускала меня гулять на короткие промежутки. Я стала ходить вокруг госпиталя. Интересно: что едят раненные? Наверное, их хорошо кормят. Дома с утра до вечера была одна фасоль. Так хотелось хлеба!

Проход на территорию был закрыт еще и досками. Я одну доску отодвинула и пролезла в дырку. Меня никто не остановил. Раненные удивленно смотрели на меня: как это я сюда проникла? А может, так и надо? Я немного прошла и остановилась. На кроватях с колесиками лежали двое тяжелораненых – забинтованные голова и грудь. «Киндер, шпрехен зи дойч?» Я показала на конец мизинца. Один тихо засмеялся... В спине, ниже лопатки, я вдруг почувствовала острую боль, аж задохнулась. Кто-то швырнул в меня камешек. Повернулась. На меня, шагах в двадцати, смотрел рыжий немец на костылях, без ноги: «Век раус, шайзе менш... Фарфлюкте...» Я побежала к своей лазейке. Опять надо выбираться вперед головой! Я наполовину пролезла, беспомощно болтала в воздухе ногами, а он все еще громко орал как ненормальный и выкрикивал новые и новые ругательства. «Заткнись ты! Рыжая кандала, тебя кошка родила!»

Все провалилось. Госпиталь меня больше не интересовал. При воспоминании о нем на душе становилось неприятно и тяжело. На базар мне нельзя. Дела никакого нет. И даже тетя Валя подвела. «Продала» меня маме. Я ей призналась, что, несмотря на честное слово, ворую. Она смеялась, говорила: «Молодец, доця!» А потом взяла и все рассказала маме. Никому нельзя верить. Ничего нельзя рассказывать. Даже тете Вале. Как она потом «к доце» ни подлизывалась, с ней я уже была начеку.

## **Наши пришли**

– Люся, ну съешь хоть пару ложек. Возьми себя в руки и съешь... Ну ты же умрешь... Я тебя прошу. И тетя Валя тебя просит. Ради нас, ну дочечка!

Как ни старалась мама, но, кроме фасоли, на зиму больше ничего не запасла. Соль давно кончилась. Фасоль я не могла проглотить. Я лежала целыми днями без движения. Мама металась в поисках еды. Теперь она была бы счастлива, если бы я по-прежнему ходила на базар и подкармливалась самостоятельно, но... ходить я уже не могла.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.